

Джон Фаулз

ВОЛХВ



На берегах фантазии. Проза Джона Фаулза

Джон Фаулз

Волхв

«ЭКСМО»

1966

Фаулз Д. Р.

Волхв / Д. Р. Фаулз — «Эксмо», 1966 — (На берегах фантазии.
Проза Джона Фаулза)

ISBN 978-5-699-46718-1

Джон Фаулз – один из наиболее выдающихся и популярных британских писателей, современный классик, автор «Коллекционера» и «Любовницы французского лейтенанта». «Волхв» служит Фаулзу своего рода визитной карточкой. В этом романе на затерянном греческом острове загадочный «маг» ставит беспощадные психологические опыты на людях, подвергая их пытке страстью и небытием. Реалистическая традиция сочетается в книге с элементами мистики и детектива. Эротические сцены – возможно, лучшее из написанного о плотской любви во второй половине XX века.

ISBN 978-5-699-46718-1

© Фаулз Д. Р., 1966

© Эксмо, 1966

Содержание

Предисловие	6
Часть первая	10
1	10
2	13
3	15
4	21
5	28
6	32
7	34
8	38
9	42
Часть вторая	43
10	43
11	47
12	50
13	52
14	59
15	61
16	68
17	70
18	76
19	82
20	87
21	90
22	92
23	95
24	101
25	105
26	107
27	111
Конец ознакомительного фрагмента.	115

Джон Фаулз

Волхв

John Fowles
THEMAGUS

Copyright © 1966 by John Fowles

© Кузьминский Б., перевод на русский язык, 2011

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2012

* * *

Предисловие

В этой редакции проблематика и сюжет «Волхва» не претерпели значительных перемен. Но правку нельзя назвать и чисто стилистической. Ряд эпизодов практически переписан заново, один-два добавлены. Такую, казалось бы, бестолковую работу я проделал не в последнюю очередь потому, что из всего мной написанного самый сильный интерес публики – если авторская почта что-то доказывает – возбудила именно эта книга. Мне не давала покоя мысль о том, что повышенным спросом пользуется произведение, к которому и у меня, и у рецензентов накопилось столько профессиональных претензий. Я закончил «Волхва» в 1965 году, уже будучи автором двух книг¹, но, если отвлечься от даты публикации, это мой первый роман. Предварительные наброски относятся к началу 50-х; с тех пор сюжет и поэтика не раз видоизменялись. Сначала в них преобладал мистический элемент – в подражание шедевр Генри Джеймса «Поворот винта». Но четких ориентиров у меня тогда не было ни в жизни, ни в литературе. Здравый смысл подсказывал, что на публикацию моих писаний рассчитывать нечего; фантазия же не могла отречься от любимого детища, неуклюже и старательно тщила донести его до ушей человеческих; хорошо помню, что мне приходилось отвергать один фрагмент за другим, ибо текст не достигал нужной изобразительной точности. Несовершенство техники и причуды воображения (в них видится скорее неспособность воссоздать уже существующее, чем создать не существовавшее доселе, хотя ближе к истине второе) сковывали меня по рукам и ногам. И когда в 1963 году успех «Коллекционера» придал мне некоторую уверенность в своих силах, именно истерзанный, многожды перелицованный «Волхв» потеснил другие замыслы, выношенные в пятидесятых... а ведь по меньшей мере два из них, на мой вкус, были куда масштабнее и принесли бы мне большее уважение – во всяком случае, в Англии.

В 1964-м я взялся за работу: скомпоновал и переделал ранее написанные куски. Но сквозь сюжетную ткань «Волхва» все же проглядывало ученичество, путевые записки исследователя неведомой страны, полные ошибок и предрассудков. Даже в той версии, которая увидела свет, куда больше стихийного и недодуманного, чем полагает искушенный читатель; критика усерднее всего клевала меня за то, что книга-де – холодно-расчетливая проба фантазии, интеллектуальная игра. А на самом деле один из коренных ее пороков – попытка скрыть текущее состояние ума, в котором она писалась.

Помимо сильного влияния Юнга, чьи теории в то время глубоко меня интересовали, «Волхв» обязан своим существованием трем романам. Усерднее всего я придерживался схемы «Большого Мольна» Ален-Фурнье – настолько усердно, что в новой редакции пришлось убрать ряд чрезмерно откровенных заимствований. На прямолинейного литературоведа параллели особого впечатления не производят, но без своего французского прообраза «Волхв» был бы кардинально иным. «Большой Мольн» имеет свойство воздействовать на нас (по крайней мере на некоторых из нас) чем-то, что лежит за пределами собственно словесности; именно это свойство я пытался сообщить и своему роману. Другой недостаток «Волхва», против которого я также не смог найти лекарства, тот, что я не понимал: описанные в нем переживания – неотъемлемая черта юности. Герой Анри Фурнье, не в пример моему персонажу, явственно и безобманно молод.

Второй образец, как ни покажется странным, – это, бесспорно, «Бевис» Ричарда Джеффриса², книга, покорившая мое детское воображение. Писатель, по-моему, формируется

¹ Роман «Коллекционер» (1963) и цикл афоризмов в духе Паскаля «Аристос» (1964). (Здесь и далее – прим. переводчика.)

² Роман «Бевис. История одного мальчика» (1882) – самое популярное произведение писателя и натуралиста Ричарда Джеффриса. В этой пространной книге скрупулезно описывается пребывание малолетнего героя на родительской ферме. Боль-

довольно рано, сознает он это или нет; а «Бевис» похож на «Большого Мольна» тем, что сплетает из повседневной реальности (реальности ребенка предместий, рожденного в зажиточной семье, каким и я был внешне) новую, незнакомую. Говорю это, чтобы подчеркнуть: глубинный смысл и стилистика таких книг остаются с человеком и после того, как он их «перерастает».

Третью книгу, на которую опирается «Волхв», я в то время не распознал, а ныне выражаю благодарность внимательной студентке Ридингского университета, написавшей мне через много лет после выхода романа и указавшей на ряд параллелей с «Большими ожиданиями». Она и не подозревала, что это единственный роман Диккенса, к которому я всегда относился с восхищением и любовью (и за который прощаю ему бесчисленные погрешности остальных произведений); что, работая над набросками к собственному роману, я с наслаждением разбирал эту книгу в классе; что всерьез подумывал, не сделать ли Кончиса женщиной (мисс Хэвишем) – замысел, отчасти воплощенный в образе г-жи де Сейтас. В новую редакцию я включил небольшой отрывок, дань уважения этому неявному образцу.

Коротко о паре более заметных отличий. В двух эпизодах усилен элемент эротики. Я просто навестал то, на что ранее у меня не хватало духу. Второе изменение – в концовке. Хотя ее идея никогда не казалась мне столь зашифрованной, как, похоже, решили некоторые читатели (возможно, потому, что не придали должного значения двустийию из «Всенощной Венере»³, которым завершается книга), я подумал, что на желаемую развязку можно намекнуть и яснее... и сделал это.

Редкий автор любит распространяться об автобиографической основе своих произведений – а она, как правило, не исчерпывается временем и местом написания книги, – и я не исключение. И все же: мой Фраксос («остров заборов») – на самом деле греческий остров Спеце, где в 1951–1952 годах я преподавал в частной школе, тогда не слишком похожей на ту, какая описана в книге. Пожелай я вывести ее как есть, мне пришлось бы написать сатирический роман⁴.

Знаменитый миллионер, купивший участок острова, не имеет никакого отношения к моему, вымышленному: г-н Ниархос появился на Спеце гораздо позже. А прежний владелец виллы Бурани, чьими внешностью и роскошными апартаментами я воспользовался в романе, ни в коей мере не прототип моего персонажа, хотя, насколько мне известно, это становится чем-то вроде местного предания. С тем джентльменом, другом старика Венизелоса, мы виделись лишь дважды, оба раза мельком. Запомнился мне его дом, а не он сам.

По слухам – мне бывать там больше не доводилось, – сейчас Спеце совсем не тот, каким я изобразил его сразу после войны. Общаться там было почти не с кем, хотя в школе работали сразу два преподавателя-англичанина, а не один, как в книге. Счастливый случай познакомил меня с чудесным коллегой, ныне старым другом, Денисом Шароксом. Энциклопедически образованный, он отлично понимал греческий национальный характер. Это Денис отвел меня на виллу. Он вовремя отказался от литературных притязаний. Поморщившись, заявил, что, гостя в Бурани прошлый раз, сочинил последнее в своей жизни стихотворение. Почему-то это подстегнуло мою фантазию: уединенная вилла, великолепный ландшафт, прозрение моего приятеля; очутившись на мысу и приближаясь к вилле, мы услышали музыку, неожиданную среди античного пейзажа... не благородные плеилевские клавикорды⁵, как в романе, а нечто,

шую часть времени мальчик предоставлен самому себе; фермерский надел для него превращается в замкнутую, таинственную страну, населенную растениями, животными и даже демонами.

³ Анонимная римская поэма второй половины II – первой половины III в.

⁴ Существует и еще один, весьма любопытный, роман об этой школе: К. Мэтьюз, «Алеко» («Питер Дэвис», 1934). Француз Мишель Деон также выпустил автобиографическую книгу «Балкон на Спеце» («Галлимар», 1961). (Примеч. автора.)

⁵ Игнац Плейель (1757–1831) – композитор, основатель фабрики клавишных инструментов в Париже.

весьма некстати приводящее на ум валлийскую часовню. Надеюсь, эта фисгармония сохранилась. Она тоже многое мне подсказала.

В те дни чужаки – даже греки – были на острове большой редкостью. Помню, к нам с Денисом примчался мальчуган, спеша сообщить, что с афинского парохода сошел какой-то англичанин, – и мы, как два Ливингстона, отправились приветствовать соотечественника, посетившего наш пустынный остров. В другой раз приехал Кацимбалис, «марусский колосс» Генри Миллера⁶, и мы поспешили засвидетельствовать ему почтение. Тогдашняя Греция трогательно напоминала одну большую деревню.

Необитаемую часть Спеце воистину населяли призраки, правда, бесплотнее (и прекраснее) тех, что я выдумал. Молчание сосновых лесов было, как нигде, бесхитростно: будто вечный чистый лист, ожидающий ноты ли, слова. Там вы переставали ощущать течение времени, присутствовали при зарождении легенд. Казалось, уж тут-то никогда ничего не происходит; но все же нарушь некое равновесие – и что-то произойдет. Местный дух-покровитель состоял в родстве с тем, какой описан в лучших стихах Малларме, – о незримом полете, о словах, бессильных пред невыразимым. Трудно передать все значение тех впечатлений для меня как писателя. Они напитали мою душу, отпечатались в ней глубже, нежели иные воспоминания о людях и природе Эллады. Я уже сознавал, что вход во многие сферы английского общества мне заказан. Но самые суровые запреты у всякого романиста – впереди.

На первый взгляд то были безотрадные впечатления; с ними сталкивается большинство начинающих писателей и художников, ищущих вдохновения в Греции. Мы прозвали это чувство неприкаянности, переходящее в апатию, эгейской хандрой. Нужно быть истинным творцом, чтобы создать что-то стоящее среди чистейших и гармоничнейших на Земле пейзажей, к тому же понимая, что люди, которые были им под стать, перевелись в незапамятные времена. Островная Греция остается Цирцеей; скитальцу художнику не след медлить здесь, если он хочет уберечь свою душу.

Никаких событий, напоминающих сюжет «Волхва», кроме упомянутых, на Спеце не происходило. Реальную основу сюжета я позаимствовал из своего английского житья-бытья. Я сбежал от Цирцеи, но выздоровление оказалось мучительным. Позже мне стало ясно, что романист нуждается в утратах, что они полезны книгам, хоть и болезненны для «я». Смутное ощущение потери, упущенного шанса заставило меня привить личные трудности, с которыми я столкнулся по возвращении в Англию, к воспоминаниям об острове, о его безлюдных просторах, постепенно превращавшихся для меня в утраченный рай, в запретное поместье Алена-Фурнье, а может, и в ферму Бевиса. Вырисовывался герой, Николас, тип если не современника вообще, то человека моего происхождения и среды. В фамилии, которую я ему придумал, есть скрытый каламбур. Ребенком я выговаривал буквы th как «ф», и Эрфе на самом деле означает *Earth*, Земля – словечко, возникшее задолго до напрашивающейся ассоциации с Оноре д'Юрфе и его «Астреей».

Сказанное, надеюсь, снимает с меня обязанность толковать «смысл» книги. Роман, даже доходчивее и увлекательнее написанный, не кроссворд с единственно возможным набором правильных ответов – образ, который я тщетно пытаюсь («Уважаемый мистер Фаулз! Объясните, пожалуйста, что означает...») вытравить из голов нынешних интерпретаторов. «Смысла» в «Волхве» не больше, чем в кляксах Роршаха, какими пользуются психологи. Его идея – это отклик, который он будит в читателе, а заданных заранее «верных» реакций, насколько я знаю, не бывает.

⁶ «Колосс марусский» (1941) – очерковая книга Г. Миллера о поездке в Грецию. Кацимбалис – поэт, представитель афинской богемы, сопровождавший Миллера в странствиях по Элладе и, в частности, в плавании на остров Спеце. Здешний пейзаж, видимо, не произвел на автора «Тропика Рака» особого впечатления. «У деревни был бледный вид, будто дома страдали морской болезнью и их только что вывернуло наизнанку», – вскользь бросает Миллер.

Добавлю, что, работая над вторым вариантом, я не стремился учесть справедливые замечания об излишествах, переусложненности, надуманности и т. п., высказанные маститыми обозревателями по поводу варианта первого. Теперь я знаю, читателей какого возраста привлекает роман в первую очередь, и пусть он остается, чем был, – романом о юности, написанным рукой великовозрастного юнца. Оправданием мне служит тот факт, что художник должен свободно выражать собственный опыт во всей его полноте. Остальные вольны пересматривать и хоронить свое личное прошлое. Мы – нет, какая-то часть нашей души пребудет юной до смертного часа... зрелость наследует простодушие молодости. В самом откровенном из новейших романов о романистах, в последнем, горячем творении Томаса Харди «Возлюбленная», немолчно звучит жалоба на то, что молодое «я» повелевает вроде бы «зрелым», пожилым художником. Можно скинуть с себя это иго, как сделал сам Харди, но заплатишься способностью писать романы. И «Волхв» есть поспешное, хоть и не вполне осознанное, празднество возложения ярма.

Если и искать связную философию в этом – скорее ирландском, нежели греческом – рагу из гипотез о сути человеческого существования, то искать в отвергнутом заглавии, о котором я иногда жалею: «Игра в Бога». Я хотел, чтобы мой Кончис продемонстрировал набор личин, воплощающих представления о Боге – от мистического до научно-популярного; набор ложных понятий о том, чего на самом деле нет, – об абсолютном знании и абсолютном могуществе. Разрушение подобных миражей я до сих пор считаю первой задачей гуманиста; хотел бы я, чтобы некий сверх-Кончис пропустил арабов и израильтян, ольстерских католиков и протестантов через эвристическую мясорубку, в какой побывал Николас.

Я не оправдываю поведение Кончиса во время казни, но признаю важность вставшей перед ним дилеммы. Бог и свобода – понятия полярно противоположные; люди верят в вымышленных богов, как правило, потому, что боятся довериться дьяволу. Я прожил достаточно, чтобы понять, что руководствуются они при этом добрыми побуждениями. Я же следую основному принципу, который пытался заложить и в эту книгу: истинная свобода – между тем и другим, а не в том или в другом только, а значит, она не может быть абсолютной. Свобода, даже самая относительная, – возможно, химера, но я и по сей день придерживаюсь иного мнения.

1976

Джон Фаулз

Часть первая

Подобное душевное безразличие, вне всякого сомнения, отличает только закоренелых развратников.

*Де Сад. Несчастливая судьба добродетели*⁷

1

Я родился в 1927 году – единственный сын небогатых англичан, которым до самой смерти не удавалось вырваться за пределы тени уродливой карлицы, королевы Виктории, причудливо простершейся в грядущее. Закончил школу, два года болтался в армии, поступил в Оксфорд; тут-то я и начал понимать, что совсем не тот, каким мне хотелось бы быть. Что генеалогия моя никуда не годится, я выяснил давным-давно. Отец – бригадный генерал, причем вовсе не благодаря выдающимся профессиональным качествам, а просто потому, что достиг нужного возраста в нужный момент; мать – типичная жена будущего генерал-майора. А именно: она никогда ему не перечила и вела себя так, будто муж следит за ней из соседней комнаты, даже если он находился за тысячи миль от дома. Во время войны отец наезжал редко, и мало-мальски привлекательный образ, выдуманный мной, пока он отсутствовал, всякий раз приходилось подвергать генеральному пересмотру (каламбур неуклюжий, но точный) в первые же дни его побывки.

Как любой человек не на своем месте, он жить не мог без банальщины и мелочной показухи; мозги ему заменяла кольчуга отвлеченных понятий: Дисциплина, Традиции, Ответственность... И когда я осмеливался возразить ему – что бывало очень редко, – он принимался утешить меня сими священными словами, как какого-нибудь зарвавшегося лейтенантика. А если жертва и тут не падала замертво, давал волю рыжему цепному псу – гневу.

По преданию, наши предки эмигрировали из Франции после отмены Нантского эдикта – благородные гугеноты, дальние родственники Оноре д'Юрфе, автора «Астреи» (бестселлера семнадцатого столетия). С тех пор никто в семье – исключая постоянного корреспондента Карла II Тома Дюрфея⁸, родство с которым не менее сомнительно, – не проявлял склонности к творчеству: поколения военных, священников, моряков, помещиков сменяли друг друга, разнясь покровом одежд, сходясь в разорительном пристрастии к азартным играм. Двое из четверых сыновей моего деда не вернулись с Первой мировой; третий выбрал самый пошлый способ разделаться с наследственностью и сбежал в Америку от карточных долгов. Отец – младший отпрыск, обладающий всеми достоинствами, какие привыкли приписывать старшим, – всегда говорил о нем как о мертвом, но как знать, может, он еще жив, а у меня по ту сторону Атлантики имеются двоюродные братцы и сестрички.

В старших классах я понял, что жизнь, которая мне по душе, не вызовет в родителях ничего, кроме огульного неприятия, а изменить их взгляды, увы, невозможно. Я делал успехи в английском, публиковал в школьном журнале стихи под псевдонимом, считал Д. Г. Лоуренса самой выдающейся личностью нашей эпохи; родители же Лоуренса, конечно, не открывали, а если и слышали о нем, то лишь в связи с «Любовником леди Чаттерлей». Некоторые их черты – эмоциональную мягкость матери, отцовские приступы безоглядного веселья – еще можно было вынести; но нравилось мне в них совсем не то, чем они сами гордились. И когда Гитлеру

⁷ Роман маркиза де Сада «Жюстина, или Несчастливая судьба добродетели» здесь и далее цитируется в переводе А. Царькова и С. Прохоренко.

⁸ Томас Дюрфей (1653–1723) – модный литератор, состоял в переписке с множеством сильных мира сего.

пришел конец, а мне исполнилось восемнадцать, они уже стали для меня просто источником средств. Благодарность я им выказывал, но на большее меня не хватало.

Я вел двойную жизнь. В школе у меня была не слишком выгодная в военное время репутация эстета и циника. Но Традиции и Жертвенность гнали меня в строй. Я уверял всех – и директор школы вовремя поддержал меня, – что университет может и подождать. В армии двойная жизнь продолжалась: на людях я играл тошнотворную роль сына бравого генерала Эрфе, а в одиночестве лихорадочно поглощал толстые антологии издательства «Пингвин» и тонкие поэтические сборники. Как только смог, демобилизовался.

В Оксфорд я поступил в 1943 году. На второй год учебы в колледже Магдалины, после летних каникул, во время которых я нанес родителям наикратчайший визит, отец получил назначение в Индию. Мать он забрал с собой. Самолет, на котором они летели, – груда железных дров, пропитанных бензином, – попал в грозу и разбился в сорока милях восточнее Карачи. Оправившись от удара, я почти сразу почувствовал облегчение, вздохнул наконец свободно. Ближайший родственник, брат матери, жил на своей ферме в Родезии, и никакие семейные узы теперь не мешали развитию того, что я считал своим истинным «я». Может, сыновняя почтительность и была моим слабым местом, зато в новых веяниях я разбирался как никто.

Или думал, что разбирался, – вместе с другими умниками, моими приятелями по колледжу. Мы организовали небольшой клуб под названием *Les Hommes Revoltes*⁹, пили очень сухой херес и (в пику шерстяным лохмотьям конца сороковых) нацепляли темно-серые костюмы и черные галстуки. Собираясь, толковали про бытие и ничто¹⁰, а свой изощренно-бессмысленный образ жизни называли экзистенциалистским. Невеждам он показался бы вычурным или жлобским; до нас не доходило, что герои (или антигерои) французских экзистенциалистских романов действуют в литературе, а не в реальности. Мы пытались подражать им, принимая метафорическое описание сложных мировоззренческих систем за самоучитель правильного поведения. Наизусть зазубривали, как себя вести. Большинству из нас, в духе вечного оксфордского дендизма, просто хотелось выглядеть оригинальными. И клуб давал нам такую возможность.

Я приобрел привычку к роскоши и жеманные манеры. Оценки у меня были средненькие, а амбиции чрезмерные: я возомнил себя поэтом. На деле ничто так не враждебно поэзии, как безразлично-слепая скука, с которой я тогда смотрел на мир в целом и на собственную жизнь в частности. Я был слишком молод, чтобы понять: за цинизмом всегда скрывается неспособность к усилию – одним словом, импотенция; быть выше борьбы может лишь тот, кто по-настоящему боролся. Правда, воспринял я и малую толику сократической честности, полезной во все времена, – именно она стала важнейшим вкладом Оксфорда в нашу культуру. Благодаря ей я с грехом пополам усвоил, что бунт против прошлого – это еще не все. Как-то я наговорил друзьям множество гадостей об армии, а вернувшись к себе, вдруг подумал: то, что я с легкостью высказываю вещи, от которых моего покойного отца хватил бы кондрашка, вовсе не означает, что я избавился от его влияния. Циником-то я был не по природе, а по статусу бунтаря. Я отверг то, что ненавидел, но не нашел предмета любви и потому делал вид, что ничто в мире любви не заслуживает.

Всесторонне подготовленный к провалу, я вступил в большую жизнь. В отцовской кольчуге абстракций не было звена под названием Бережливость; его счет у Лэдброка¹¹ достигал комически больших размеров, а траты были грандиозны, ибо, ища популярности, он восполнял недостаток обаяния избытком спиртного. Того, что осталось после нашествия законников и налоговых инспекторов, на жизнь явно не хватало. Куда бы я ни пытался устроиться – в дип-

⁹ «Бунтующие люди» (*фр.*). Аллюзия на эссе Альбера Камю «Человек бунтующий».

¹⁰ «Бытие и ничто» (1943) – библия французского экзистенциализма, философский трактат Ж. П. Сартра.

¹¹ Крупная тотализаторная фирма в Лондоне.

корпус, на гражданскую службу, в министерство колоний, в банки, в торговлю, в рекламу, – любая работа казалась слишком пресной и элементарной. Я прошел несколько собеседований. И коль скоро не собирался проявлять того щенячьего энтузиазма, которого у нас требуют от начинающего чиновника, никуда не был принят.

В конце концов, как и до меня – многие выпускники Оксфорда, я написал по объявлению в «Таймс эдьюкейшнл саплмент»¹² и поехал в маленькую школу на востоке Англии; там меня допросили с пристрастием и предложили место. Позже выяснилось, что кроме меня на него имелось только два претендента, оба из Редбрика¹³; семестр начинался через три недели.

Инкубаторские детки, мои ученики, были из рук вон плохи; тесный городок – кошмарен; но что воистину невозможно было вынести – так это учительскую. На урок я шел чуть ли не с облегчением. Скука, мертвящая предрешенность годового жизненного цикла тучей нависала над нами. То была скука настоящая, а не хандра, какую я напускал на себя, следуя моде. Она порождала лицемерие, ханжество, порождала бессильный гнев стариков, знающих, что потерпели крах, и молодых, ожидающих такого же краха. Старшие учителя напоминали обреченных казни; при виде многих из них кружилась голова, словно ты заглядывал в бездонную дыру тщеты человеческой... по крайней мере, так было со мной к концу первого года работы.

Нет, подобная Сахара – не для моих прогулок; чем острее я ощущал это, тем яснее становилось: оцепенело-напыщенная школа – лишь игрушечный макет целой страны; бежать надо от обеих. Вдобавок там ошивалась девушка, которая мне надоела.

По окончании семестра я убедился, что мои размышления встречены сочувственно. Я не раз намекал на свою непоседливость, из чего директор живо заключил, что я собираюсь то ли в Америку, то ли в доминионы.

– Я еще не решил, господин директор.

– А ведь мы могли бы сделать из вас прекрасного учителя, Эрфе. Да и вы, знаете ли, принесли к нам новые веяния. Ну что теперь об этом говорить.

– Боюсь, вы правы.

– Не вижу ничего хорошего во всех этих заграницах. Мой вам совет: оставайтесь. А впрочем... *vous l'avez voulu, Georges Danton. Vous l'avez voulu*¹⁴.

Ошибка красноречивая.

В день моего отъезда лил дождь. Но я был полон радостного нетерпения – такое чувство, словно у тебя отрастают крылья. Я не знал, куда отправлюсь, но знал, что буду искать. Чужую землю, чужих людей, чужой язык; и хотя тогда я не мог облечь это в слова – чужую тайну.

¹² Приложение к газете «Таймс» по проблемам образования.

¹³ Редбрик (red brick, красный кирпич) – ироническое название провинциальных университетов, готовящих дипломированные кадры для местных нужд.

¹⁴ Вы этого хотели, Жорж Дантон. Вы этого хотели (*фр.*). Директор неверно цитирует крылатую фразу из пьесы Мольера «Жорж Данден».

2

В начале августа, вспомнив, что работу за границей можно найти через Британский совет, я отправился на Дэвис-стрит. Приняла меня деловая леди, ушибленная проблемами культуры, – ее лексика и манера говорить обличали выпускницу Роудина¹⁵. Конечно, важно, доверительно сообщила она, чтобы за рубежом «нас» представляли самые достойные, но давать объявление о каждой вакансии, беседовать с претендентами – такая волянка, да и линия сейчас, если честно, на сокращение экспорта кадров. После всех этих предисловий я узнал, что рассчитывать приходится лишь на место школьного учителя английского языка – это вас не очень пугает?

– Очень, – ответил я.

В конце августа, почти не ожидая результата, я дал объявление, каких навалом в любой газете: лаконично сообщил, что готов заниматься чем и где угодно, и получил несколько откликов. Кроме брошюр с напоминаниями, что судьба моя в руке Божьей, пришло три трогательных послания от прохиндеев, жаждущих поправить дела за мой счет. И еще одно, предлагавшее нестандартную и высокооплачиваемую работу в Танжере (владею ли я итальянским?)¹⁶, но мое письмо туда осталось без ответа. Надвигался сентябрь; я начал терять надежду. Скоро, припертый к стенке, совсем отчаюсь и снова примусь перелистывать тлетворные страницы «Эдьюкейшнл саплмент» – бесконечный блеклый список бесконечных блеклых занятий. И однажды утром я вернулся на Дэвис-стрит.

Нет ли у них чего-нибудь в Средиземноморье? Моя знакомая с угрожающей готовностью ринулась за картотечным ящиком. Сидя в приемной под кирпично-помидорным Мэтью Смитом¹⁷, я видел себя в Мадриде, в Риме, или в Марселе, или в Барселоне... даже в Лиссабоне. За границей все иначе: там не будет учительской, и я вплотную примусь за стихи. Вернулась. Безумно жаль, но хорошие места уже заняты. Вот все, что осталось. Она показала мне запрос из Милана. Я покачал головой. Она взглянула сочувственно.

– Ну, тогда самое последнее. Мы его только что напечатали. – Протянула вырезку.

ШКОЛА ЛОРДА БАЙРОНА, ФРАКСОС

Школе лорда Байрона (Фраксос, Греция) с октября месяца требуется младший преподаватель английского языка. Семейных и не имеющих высшего образования просят не беспокоиться. Знание новогреческого не обязательно. Жалованье 600 фунтов в год в любом эквиваленте. Контракт заключается на два года с последующим возобновлением. Плата за питание взимается в начале и в конце контрактного срока.

Прилагаемый проспект конкретизировал объявление. Фраксос – остров в Эгейском море, милях в восьмидесяти от Афин. Школа лорда Байрона – «один из известнейших пансионов Греции, который ориентируется на традиции английского среднего образования» – отсюда название. Ученикам и преподавателям, похоже, предоставляются все мыслимые удобства. Учитель дает не более пяти уроков в день.

– У этой школы великолепная репутация. А сам остров – просто рай земной.

– Вы что, там бывали?

¹⁵ Роудин-скул – привилегированная женская школа близ Брайтона.

¹⁶ Танжер считается меккой гомосексуалистов.

¹⁷ Мэтью Смит (1870–1959) – художник, близкий к модернизму.

Ей было лет тридцать. Прирожденная старая дева, до того непривлекательная, что в своих модных тряпках и обильном макияже выглядит просто жалкой, будто незадачливая гейша. Нет, она не бывала, но все так говорят. Я перечитал объявление.

– Что ж так поздно спохватились?

– Ну, если мы правильно поняли, они уже приглашали кого-то. Не через нас. В итоге – скандал за скандалом. – Я снова заглянул в проспект. – Вообще-то мы раньше с ними не работали. Так что сейчас просто оказываем им любезность.

Она искательно улыбнулась; передние зубы явно крупноваты. В самых утонченных оксфордских традициях я пригласил ее позавтракать. Дома я заполнил бланк, который она принесла в кафе, сразу же вышел и опустил его в почтовый ящик. По необъяснимой причуде судьбы в тот же вечер я познакомился с Алисон.

3

Эпоха вседозволенности еще не наступила, и по тем временам я в свои годы имел, по моему, солидный любовный опыт. Девушкам – пусть и известного пошиба – я нравился; у меня была машина – чем тогда мог похвастаться редкий старшекурсник – и кой-какие деньжата. Я не был уродом; и, что еще важнее, был сиротой – а любой ходок знает, как безотказно это действует на женщин. Мой «метод» заключался в том, чтобы произвести впечатление человека со странностями, циничного и бесчувственного. А потом, словно фокусник – кролика, я предъявлял им свое бесприютное сердце.

Я не коллекционировал победы, но к концу учебы от невинности меня отделяла по меньшей мере дюжина девушек. Я не мог нарадоваться на свои мужские достоинства и на то, что влюбленности мои никогда не затягивались. Так виртуозы гольфа в душе относятся к игре чуть-чуть свысока. Играешь сегодня или нет – все равно ты вне конкуренции. Большинство романов я затевал на каникулах, подальше от Оксфорда, ибо в этом случае начало нового семестра позволяло под удобным предлогом сбежать с места преступления. Иногда следовала неделя-другая назойливых писем, но тут я запихивал бесприютное сердце обратно, вспоминал об «ответственности перед собой и окружающими» и вел себя как настоящий лорд Честерфилд. Обрывать связи я научился столь же мастерски, как и завязывать их.

Все это может показаться – да и вправду было – холодным расчетом, но двигало мной не столько бессердечие как таковое, сколько самолюбивая уверенность в преимуществах подобного образа жизни. Облегчение, с каким я бросал очередную девушку, так легко было принять за жажду независимости. Пожалуй, в мою пользу говорит лишь то, что я почти не врал: прежде чем новая жертва разденется, считал своим долгом выяснить, сознает ли она разницу между постелью и алтарем.

Но позже, в Восточной Англии, все перепуталось. Я начал ухаживать за дочерью одного из старших учителей. Она была красива английской породистой красотой; как и я, ненавидела захолустье и охотно отвечала мне взаимностью; я с опозданием понял, что взаимность небескорытна: меня собирались женить. Я запаниковал: элементарная телесная потребность грозила сломать мне жизнь. Я даже едва не капитулировал перед Дженет, круглейшей дурой, которую не любил и не мог полюбить. С оскоминой вспоминаю бесконечную июльскую ночь нашего прощания: попреки и завывания в машине на морском берегу. К счастью, я знал – и она знала, что я знаю, – что она не беременна. В Лондон я ехал с твердым намерением отдохнуть от женщин.

Большую часть августа в квартире этажом ниже той, которую я снимал на Рассел-сквер, никто не жил, но как-то в воскресенье до меня донеслись шаги, хлопанье дверей, потом музыка. В понедельник я встретил на лестнице двух девушек, не пробудивших во мне энтузиазма, и, спускаясь, отметил, что в разговоре они произносят открытое «е» как закрытое – на австралийский манер. И вот наступил вечер того дня, когда я завтракал с мисс Спенсер-Хейг, – вечер пятницы.

Часов в шесть в дверь постучали. Это была та из виденных мной девушек, что покоре- настее.

– Ой, привет. Меня зовут Маргарет. Я внизу живу. – Я пожал ее протянутую руку. – Очень приятно. Слушай, у нас тут выпивон намечается. Не присоединишься?

– Понимаешь, я бы с радостью, но...

– Все равно не уснешь – шуму будет!

Обычное дело: лучше уж пригласить, чем потом извиняться за неудобство. Помедлив, я пожал плечами.

– Спасибо. Приду.

– Отлично. В восемь, ладно? – Она пошла вниз, но обернулась. – С девушкой придешь или как?

– Я сейчас один.

– Ничего, мы тебе что-нибудь подыщем. Пока.

И ушла. Лучше бы я не соглашался.

Услышав, что народ собирается, я выждал немного и спустился, надеясь, что все уродины – а они всегда приходят первыми – уже распределены. Дверь была нараспашку. Я пересек маленькую прихожую и встал в дверях комнаты, держа наготове подарок – алжирское красное. Я пытался отыскать среди гостей девушек, встреченных на лестнице. Громкие голоса с австралийским акцентом; шотландец в юбке, несколько уроженцев Карибского бассейна. Компания явно не в моем вкусе, и я уже собирался потихоньку смыться, как вдруг кто-то вошел и остановился позади меня.

Девушка примерно моего возраста, с рюкзаком за плечами и с тяжелым чемоданом. На ней был светлый плащ, мятый и потершийся. Лицо загорело до черноты; чтобы добиться такого загара, нужно неделями жариться на солнце. Длинные волосы выгорели почти добела. Смотрелись они непривычно, ведь в моде была короткая стрижка, девушки всю каналы под мальчиков; а вокруг этой витал аромат Германии, Дании – бродяжий дух с налетом извращения, греха. Отступила в глубину прихожей, подзывая меня. Давно я не видел такой натянутой, лживой, вымученной улыбки.

– Пожалуйста, отыщите Мегги и позовите ее сюда.

– Маргарет?

Она кивнула. Я продрался сквозь толпу и поймал Маргарет на кухне.

– А, явился. Привет.

– Тебя там зовут. Девушка с чемоданом.

– Здравствуйте пожалуйста! – Переглянулась с какой-то женщиной. Запахло скандалом. Она поколебалась и поставила большую бутылку пива, которую собралась открывать, на стол. Ее мощные плечи расчистили нам путь назад. – Алисон! Ты же обещала через неделю.

– У меня деньги кончились. – Бродяжка посмотрела на старшую девушку бегущим, настороженно-виноватым взглядом. – Пит вернулся?

– Нет. – И, предостерегающе понизив голос: – Но здесь Чарли и Билл.

– Ах, черт. – Оскорбленное достоинство. – Умру, если не приму ванну.

– Чарли ее всю забил пивом, чтоб охладилось.

Загорелая поникла. Тут вмешался я:

– У меня есть ванна. Наверху.

– Да? Алисон, познакомься, это...

– Николас.

– Вы правда позволите? Я только что из Парижа. – С Маргарет она говорила почти как австралийка, со мной – почти как англичанка.

– Конечно. Я покажу, где это.

– Сейчас, только возьму что-нибудь переодеться.

В комнате ее встретили приветственными возгласами:

– Ого, Элли! Какими судьбами, подружка?

Рядом с ней оказались два или три австралийца, каждого она чмокнула. Маргарет – толстухи всегда покровительствуют худышкам – живо их растолкала. Алисон вынесла смену одежды, и мы отправились наверх.

– Господи боже, – сказала она. – Эти австралийцы.

– Где путешествовали?

– Везде. Во Франции. В Испании.

Мы вошли в квартиру.

– Надо выгнать из ванны пауков. Выпейте пока. Вот там.

Когда я вернулся, в руках у нее был бокал с виски. Она снова улыбнулась, но через силу: улыбка сразу погасла. Я помог ей снять плащ. От нее шибало французскими духами, концентрированными, как карболка; светло-желтая рубашка сильно засалилась.

– Вы внизу живете?

– Угу. Вместе снимаем.

Молча подняла бокал. Доверчивые серые глаза – оазис невинности на продажном лице, словно остервенилась она под давлением обстоятельств, а не по душевной склонности. Остервенилась и научилась рассчитывать только на себя, но при этом выглядеть беззащитной. И ее выговор, уже не австралийский, но еще не английский, звучал то в нос, с оттенком хриплой горечи, то с неожиданной солоноватой ясностью. Загадка, живой оксюморон.

– Ты один пришел? Ну, в гости?

– Один.

– Держись тогда за меня сегодня, хорошо?

– Хорошо.

– Зайди минут через двадцать, я управлюсь.

– Да я подожду.

– Нет, лучше зайди.

Мы неловко улыбнулись друг другу. Я вернулся в нижнюю квартиру.

Маргарет вскочила. Похоже, она меня дожидалась.

– Николас, тут одна англичаночка очень хочет с тобой познакомиться.

– Боюсь, твоя подружка меня уже застолбила.

Она уставилась на меня, оглянулась по сторонам, вытолкнула меня в прихожую.

– Слушай, не знаю, как объяснить, но... Алисон, она невеста моего брата. А тут, между прочим, его друзья...

– Ну и?

– У них с ней старые счеты.

– Опять не понимаю.

– Просто не люблю мордобоя. Мне хватило одного раза. – Я притворился идиотом. – Она должна быть верна ему, и друзья об этом позаботятся.

– Да у меня и в мыслях нет!

Ее позвали в комнату. Уверенности, что меня удалось вразумить, у нее не было, но она явно решила, что дальнейшее от нее не зависит.

– Веселая история. Но ты хоть усек, что я сказала?

– Вполне.

Она понимающе взглянула на меня, уныло кивнула и ушла. Я минут двадцать постоял в прихожей, выскользнул, поднялся на свой этаж. Позвонил. После долгого перерыва из-за двери донеслось:

– Кто там?

– Двадцать минут прошло.

Дверь открылась. Алисон собрала волосы в пучок и завернулась в полотенце; шоколадные плечи, шоколадные ноги. Убежала обратно в ванную. Забулькала вода в сливе. Я крикнул:

– Мне сказали, чтобы я к тебе не клеился.

– Мегги?

– Говорит: не люблю мордобоя.

– Корова гнойная. Может стать моей золовкой.

– Да знаю.

– Изучает социологию. В Лондонском университете. – Молчание. – Уезжаешь и думаешь, что за это время люди изменятся, а они все те же. Глупо, правда?

– Что ты хочешь этим сказать?

– Подожди минуточку.

Я подождал, и не одну. Наконец она вышла. Простенькое белое платье, волосы снова распущены. Без косметики она была в десять раз красивее.

Улыбнулась, закусив губу:

– Ну как?

– Королева бала. – Она не отводила глаз, и я смешался. – Спускаемся?

– Налей на доньшко.

Я налил как следует. Глядя, как виски течет в бокал, она проговорила:

– Не знаю, почему я боюсь. Почему я боюсь?

– Чего боишься?

– Не знаю. Мегги. Ребят. Землячков своих ненаглядных.

– Тот мордобой вспомнила?

– Господи. Дурость полнейшая. Пришел клевый парень из Израиля, мы просто целовались. На пьянке. Больше ничего. Но Чарли стукнул Питу, они к чему-то прицепились и... господа. Ну, знаешь, как это бывает. Мужская солидарность.

Внизу нас поначалу оттеснили друг от друга. Всем хотелось с ней поболтать. Я принес выпить и передал ей бокал через чье-то плечо; речь шла о Канне, о Коллиуре и Валенсии¹⁸. В дальней комнате поставили джаз, и я заглянул туда. Темные силуэты танцующих на фоне окна, за которым – вечерние деревья, бледно-янтарное небо. Я остро ощущал, как далеки от меня все эти люди. Из угла робко улыбалась подслеповатая очкастая девушка с безвольным лицом – из тех доверчивых, начитанных созданий, какие назначены на поругание разным мерзавцам. Она была без пары, и я понял: это и есть англичаночка, которую Маргарет приготовила для меня. Губы слишком ярко накрашены; в Англии таких что воробьев. Отшатнувшись от нее, как от пропасти, я пошел обратно, сел на пол, взял с полки книжку и притворился, что читаю.

Алисон опустилась на колени рядом со мной.

– Что-то я расклеилась. Вредно пить виски. На-ка.

Это был джин. Она тоже села на пол, а я покачал головой, думая о бледной англичанке с вымазанными помадой губами. Алисон хоть настоящая, без затей, но настоящая.

– Молодец, что приехала.

Она хлебнула джина и посмотрела оценивающе.

Я не отставал:

– Читала?

– Будь проще. Книги тут ни при чем. Ты умный, я красивая. Дальше подсказывать?

Серые глаза издевались. Или молили.

– А Пит?

– Он летчик. – Она назвала известную авиакомпанию. – Бывает редко. Понял?

– Ну да.

– Сейчас он в Штатах. На переподготовке. – Уставилась в пол, на миг посерьезнев. – Мегги врет, что я его невеста. Ничего похожего. – Быстрый взгляд. – Полная свобода рук.

Кого она имела в виду: меня или своего жениха? И что для нее эта свобода – маска? символ веры?

– Где ты работаешь?

– Когда как. В основном сфера обслуживания.

– В гостинице?

¹⁸ Упоминание о Коллиуре и Валенсии в связи с Алисон – прямая отсылка к персонажу предыдущего романа Фаулза «Коллекционер» Миранде Грей, которая вспоминает о поездке в эти места со своим приятелем Пирсом.

– Не только. – Поморщилась. – Меня тут берут в стюардессы. Потому я и ездила во Францию и Испанию – практиковаться в языке.

– Сходим куда-нибудь завтра?

На дверной косяк навалился амбал австралиец, лет за тридцать.

– Да ладно, Чарли! – крикнула она. – Он просто уступил мне ванну. Успокойся.

Медленно кивнув, Чарли погрозил заскорузлым пальцем. Принял вертикальное положение и, пошатываясь, скрылся.

– До чего мил.

Она разглядывала ладонь.

– Ты вот сидел два с половиной года в японском лагере для военнопленных?

– Нет. С какой стати?

– Чарли сидел.

– Бедный Чарли.

Мы помолчали.

– Пускай австралийцы жлобы, зато англичане – пижоны.

– Ты не...

– Я над ним издеваюсь, потому что он влюблен в меня, и ему это приятно. Но другим запрещаю издеваться над ним. В моем присутствии.

Опять молчание.

– Прости.

– Ладно, проехали.

– Так ты ничего не сказала про завтра.

– А ты ничего не сказал про себя.

Постепенно, хоть я и обиделся на преподанный мне урок терпимости, она заставила меня разговориться: задавала прямые вопросы, а мои попытки отделаться пустыми фразами пресекала. Я рассказал, что значит быть генеральским сыном, рассказал об одиночестве – на сей раз гонясь не столько за тем, чтобы произвести впечатление, сколько за тем, чтобы объяснить подходчивей. Мне открылось, во-первых, что за бесцеремонностью Алисон – знание мужской души, дар виртуозного льстеца и дипломата, и, во-вторых, что ее очарование складывается из прямого характера и веры в совершенство собственного тела, в неотразимость своей красоты. Порой в ней проявлялось нечто антианглийское – достоверное, истовое, неподдельно участливое. Наконец я умолк. Я чувствовал, что она наблюдает за мной. Выждал мгновение и посмотрел. Спокойное, задумчивое лицо: ее словно подменили.

– Алисон, ты мне нравишься.

– И ты мне, наверное. У тебя красивые губы. Для пижона.

– Ни разу не был знаком с девушкой из Австралии.

– Англик ты мой.

Осталась гореть лишь тусклая лампа, и парочки, доведенные до нужного градуса, как обычно бывает, расположились где придется, в том числе и на полу. Выпивон вступил в заключительную стадию. Мегги куда-то пропала, Чарли дрых в спальне. Мы танцевали, все теснее прижимаясь друг к другу. Я поцеловал ее волосы, потом шею; она сжала мне руку и придвинулась еще ближе.

– Пошли наверх?

– Ты иди. Я приду через минуту.

Она выскользнула из моих объятий, и я пошел к себе. Через десять минут она появилась. Хитровато улыбаясь, стояла в дверях, в белом, худенькая, невинная, продажная, грубая, нежная, бывалая, неопытная.

Она вошла, я захлопнул дверь, мы начали целоваться – минуту, две, в полной темноте, не отходя от порога. Послышались шаги, двойной требовательный стук. Алисон зажала мне рот ладонью. Снова двойной стук, снова. Тишина, сердце. Удаляющиеся шаги.

– Иди ко мне, – сказала она. – Иди, иди.

4

Проснулся я поздно. Она еще спала, выставив голую коричневую спину. Я приготовил кофе и принес в спальню, где меня встретил прямой холодный взгляд из-за края покрывала. Я улыбнулся – безрезультатно. Вдруг она отвернулась и натянула покрывало на голову. Усевшись поближе, я принялся неуклюже допытываться, в чем дело, но покрывало не поддавалось; наконец мне надоели эти похлопывания и увещевания, и я решил выпить кофе. Скоро она села, попросила закурить. И рубаху, какую не жалко. Смотреть на меня она избегала. Натянула рубашку, сходила в ванную и снова залезла в постель, отмахнувшись от меня движением головы. Я сел в ногах и стал наблюдать, как она пьет кофе.

– Чем я провинился?

– Знаешь, сколько мужчин у меня было за эти два месяца?

– Пятьдесят?

Она не улыбнулась.

– Если б пятьдесят, я не мучилась бы с выбором профессии.

– Хочешь еще кофе?

– Когда мы вчера познакомились, я уже через полчаса поняла: если лягу с тобой, значит, я точно развратная.

– Премного благодарен.

– У тебя такие подходы...

– Какие?

– Как у дефлоратора-маньяка.

– Детский сад, да и только.

Молчание.

– Расклеилась я вчера, – сказала она. – Устала. – Окинула меня взглядом, покачала головой, закрыла глаза. – Извини. Ты клевый. Ты очень клевый в постели. Только дальше-то что?

– Меня это как-то не волнует.

– А меня волнует.

– Ничего страшного. Лишнее доказательство, что не надо выходить за этого типа.

– Мне двадцать три. А тебе?

– Двадцать пять.

– Разве ты не чувствуешь, как в тебе что-то схватывается? И уже никогда не изменится? Я чувствую. До скончания века буду австралийской раззявой.

– Глупости.

– Хочешь, скажу, чем Пит сейчас занимается? Он мне все-все пишет. «В прошлую среду я взял отгул, и мы весь день фершпилились».

– Что-что?

– Это значит: «Ты тоже спи с кем хочешь». – Она посмотрела в окно. – Всю весну мы жили вместе. Знаешь, мы притерлись, днем были как брат и сестра. – Косой взгляд сквозь клубы табачного дыма. – Где тебе понять, что это такое – проснуться рядом с типом, с которым еще вчера утром не была знакома. Что-то теряешь. Не то, что обычно теряют девушки. Нет, еще плюс к тому.

– Или приобретаешь.

– Господи, да что тут можно приобрести? Может, просветишь?

– Опыт. Радость.

– Я говорила, что у тебя красивые губы?

– Не раз.

Она затушила сигарету и откинулась назад.

– Знаешь, почему мне сейчас хотелось зареветь? Потому что я выйду за него. Как только он вернется, я за него выйду. Большого я не заслуживаю.

Она сидела, прислонясь к стене, в рубашке, которая была ей велика, тонкая женщина-мальчик со злобным лицом, глядя на меня, глядя на покрывало, окутанная безмолвием.

– Это просто черная полоса у тебя.

– Черная полоса начинается, когда я сажусь и задумываюсь. Когда просыпаюсь и вижу, кто я есть.

– Тысячи девушек скажут тебе то же самое.

– А я – не тысячи. Я – это я. – Она сняла рубашку через голову и снова зарылась в постель. – Как хоть тебя зовут-то? Я имею в виду фамилию.

– Эрфе. Э-Р-Ф-Е.

– А меня – Келли. Твой папка правда был генерал?

– Правда был.

С несмелой издевкой «козырнув», она протянула загорелую руку. Я придвинулся.

– Думаешь, я шлюха?

Может, именно тогда, глядя на нее вблизи, я и сделал выбор. И не сказал, что просилось на язык: да, шлюха, хуже шлюхи, потому что спекулируешь своей шлюховатостью, лучше б я послушался твою будущую золовку. Будь я чуть дальше от нее, на том конце комнаты, чтобы не видеть глаз, у меня, наверное, хватило бы духу все оборвать. Но этот серый, упорный, вечно доверчивый взгляд, взыскующий правды, заставил меня солгать:

– Ты мне нравишься. Очень, честное слово.

– Залезай, обними меня. Ничего не делай. Только обними.

Я лег рядом и обнял ее. А потом впервые в жизни занялся любовью с рыдающей женщиной.

В ту субботу она несколько раз принималась плакать. Около пяти спустилась к Мегги и вернулась со слезами на глазах. Мегги выгнала ее на все четыре стороны. Через полчаса к нам поднялась вторая жилица, Энн, из тех несчастных женщин, у которых от носа до подбородка абсолютно плоское место. Мегги ушла, потребовав, чтобы в ее отсутствие Алисон собрала вещи. Пришлось перенести их наверх. Я поговорил с Энн. К моему удивлению, она по-своему – скупое и рассудительно – сочувствовала Алисон: Мегги явно не желала замечать художеств братца.

Несколько дней, опасаясь Мегги, которую почему-то воспринимала как заброшенный, но все еще грозный монумент крепкой австралийской добродетели на гиблом болоте растленной Англии, Алисон выходила из дому лишь поздно вечером. Я приносил продукты, мы болтали, спали, любили друг друга, танцевали, готовили еду, когда придется, – сами по себе, выпав из времени, выпав из муторного лондонского пространства, раскинувшегося за окнами.

Алисон всегда оставалась женщиной; в отличие от многих английских девушек она ни разу не изменила своему полу. Она не была красивой, а часто – даже и симпатичной. Но, соединяясь, ее достоинства (изящная мальчишеская фигурка, безупречный выбор одежды, грациозная походка) как бы возводились в степень. Вот она идет по тротуару, останавливается, переходит улицу, направляясь к моей машине; впечатление потрясающее. Но когда она рядом, на соседнем сиденье, можно разглядеть в ее чертах некую незаконченность, словно у балованного ребенка. А совсем вплотную она просто обескураживала: порой казалась настоящей уродкой, но всего одно движение, гримаска, поворот головы, – и уродства как не бывало.

Перед выходом она накладывала на веки густые тени, и, если они сочетались с обычным для нее мрачным выражением губ, похоже было, что ее побили; и чем дольше вы смотрели на нее, тем больше вам хотелось самому нанести удар. Мужчины оглядывались на нее всюду – на улице, в ресторанах, в забегаловках; и она знала, что на нее оглядываются. Да и я привык

наблюдать, как ее провожают глазами. Она принадлежала к той редкой даже среди красавиц породе, что от рождения окружена ореолом сексуальности, к тем, чья жизнь невозможна вне связи с мужчиной, без мужского внимания. И на это клевали даже самые отчаявшиеся.

Без макияжа понять ее было легче. В ночные часы она менялась, хотя и тут ее нельзя было назвать простой и покорной. Не угадаешь, когда ей снова вздумается натянуть свою многозначительную маску, усеянную кровоподтеками. То страстно отдается, то зевает в самый неподходящий момент. То с утра до вечера убирает, готовит, гладит, а то три-четыре дня подряд празднично валяется у камина, читая «Лир», женские журналы, детективы, Хемингуэя – не одновременно, а кусочек оттуда, кусочек отсюда. Всеми ее поступками руководил единственный резон: «Хочу».

Однажды принесла дорогую ручку с пером.

– Примите, мсье.

– Ты что, с ума сошла?

– Не бойся. Я ее сперла.

– Сперла?!

– Я все краду. А ты не знал?

– Все?!

– Не в лавках, конечно. В универмагах. Не могу удержаться. Да не переживай ты так.

– Вот еще. – Но я переживал. Стоял как столб с ручкой в руке.

Она усмехнулась:

– Просто хобби.

– Посмотрим, как ты повеселишься, когда тебя засадят на полгода в Холлоуэй.

Она наливала себе виски.

– Твое здоровье. Ненавижу универмаги. И буржуев, но не всех, только англичков. Одним выстрелом двух зайцев. Да ладно, расслабься, выше нос. – Засунула ручку мне в карман. – Вот так. Ты похож на загнанного казуара.

– Дай-ка виски.

Взяв бутылку, я вспомнил, что и она «куплена». Посмотрел на Алисон – та кивнула.

Пока я наливал, она стояла рядом.

– Николас, знаешь, отчего ты так серьезно относишься ко всяким пустякам? Потому что ты к себе слишком серьезно относишься.

Одарив меня поддразнивающе-нежной улыбкой, ушла чистить картошку. И я подумал, что, сам того не желая, обидел ее, да и себя тоже.

Однажды во сне она кого-то звала.

– Кто такой Мишель? – спросил я наутро.

– Один человек, которого мне нужно забыть.

Об остальном она не умалчивала: о матери, англичанке по рождению, сдержанной, но деспотичной; об отце, начальнике станции, умершем от рака четыре года назад.

– Вот откуда мой глупый промежуточный выговор. Всякий раз, как открою рот, мама и папа начинают лаяться в моей глотке. Наверное, потому я и ненавижу Австралию, и люблю ее, там несчастна, а здесь тоскую по дому. Я не порю ерунду?

Она то и дело спрашивала, не порет ли ерунду.

– Раз я гостила у родственников в Уэльсе. У маминого брата. Господи Иисусе. Там и кенгуру бы запросил пощады.

Правда, во мне ей нравились как раз чисто английские качества. Во многом оттого, что я был, как она говорила, «культурный». Пит «рыпел», стоило ей пойти в музей или на концерт. «Да неужели это интереснее выпивки?» – передразнивала она.

А как-то сказала:

– Знаешь, какой Пит клевый! Хотя и скотина. Я всегда понимаю, что ему надо, о чем он думает, что имеет в виду. А с тобой ничего не понимаю. Ты обижаешься, а я не пойму на что. Радуюсь – а я не понимаю чему. Это оттого, что ты англичанин. Тебе мои проблемы незнакомы.

В Австралии она закончила среднюю школу и даже год изучала языки в Сиднейском университете. Но тут познакомилась с Питом, и «все усложнилось». Она сделала аборт и переехала в Англию.

– Он заставил тебя сделать аборт?

Она сидела у меня на коленях.

– Он так и не узнал.

– Так и не узнал?!

– Я не была уверена, его ли это ребенок.

– Ах, бедняжка.

– Если его – он был бы против. Если нет – не вынес бы. Так что выход один.

– А ты разве не...

– Нет, не хотела. Он бы только помешал. – Но, смягчившись, добавила: – Хотела, конечно.

– И до сих пор хочешь?

Помедлила, дернула плечом.

– Иногда.

Я не видел ее лица. Мы сидели молча, согревая друг друга, остро ощущая соприкосновение наших тел и все, что значил для обоих разговор о ребенке. В нашем возрасте не секс страшен – любовь.

Раз вечером мы посмотрели старый фильм Карне «Набережная туманов». Выходя из зала, она плакала; когда мы легли, заплакала снова. И почувствовала, что я в недоумении.

– Ты – не я. Ты не так все воспринимаешь.

– Почему не так?

– Не так. Ты в любой момент можешь отключиться, и тебе будет казаться, что все в порядке.

– Не то чтобы в порядке. Просто терпимо.

– Там показано то, что я думаю. Что все бессмысленно. Пытаешься стать счастливой, а потом раз – и конец. Это потому, что мы не верим в загробную жизнь.

– Не умеем верить.

– Когда тебя нет дома, я представляю себе, что ты умер. Каждый день думаю о смерти. Когда мы вдвоем, ей это поперек горла. Представь, что у тебя куча денег, а магазины через час закроются. Волей-неволей приходится хапать. Я не порю ерунду?

– Да нет. Ты говоришь о ядерной войне.

Она курила.

– Не о войне. О нас с тобой.

«Бесприютное сердце» на нее не действовало; фальшь она отличала безошибочно. Ей казалось, что быть абсолютно одиноким, не иметь родственников очень неплохо. Как-то, ведя машину, я заговорил о том, что у меня нет близких друзей, и прибег к своей любимой метафоре – стеклянная перегородка между мной и миром, – но она расхохоталась.

– Тебе это нравится, – сказала она. – Ты, парень, жалуешься на одиночество, а в глубине души считаешь себя лучше всех. – Я злобно молчал, и она, помедлив дольше, чем нужно, выговорила: – Ты и есть лучше всех.

– Что не мешает мне оставаться одиноким.

Она пожала плечами:

– Женись. Хоть на мне.

Словно предложила аспирин, чтоб голова не болела. Я не отрывал глаз от дороги.

– Ты же выходишь за Пита.

– Конечно, зачем тебе связываться со шлюхой, да еще и не местной.

– Я уже устал от намеков на твою провинциальность.

– Устал – больше не повторится. Твое слово – закон.

Мы избегали заглядывать в провал будущего. Обменивались общими фразами: вот поселимся в хижине, и я буду писать стихи, или купим джип и пересечем Австралию. Мы часто шутили: «Когда приедем в Алис-Спрингс...» – и это значило «никогда».

Дни тянулись, перетекали один в другой. Подобного я не испытывал ни разу. Даже в физическом плане, не говоря об остальном. Днем я воспитывал ее: ставил произношение, учил хорошим манерам, обтесывал; ночью воспитывала она. Мы привыкли к этой диалектике, хоть и не могли – наверное, потому, что оба были единственными детьми в семье, – понять ее механизм. У каждого было то, чего не хватало другому, плюс совместимость в постели, одинаковые пристрастия, отсутствие комплексов. Она научила меня не только искусству любви, но тогда я этого не понимал.

Вспоминаю нас в зале галереи Тейт. Алисон слегка прислонилась ко мне, держит за руку, наслаждаясь Ренуаром, как ребенок леденцом. И я вдруг чувствую: мы – одно тело, одна душа; если сейчас она исчезнет, от меня останется половина. Будь я не столь рассудочен и самодоволен, до меня дошло бы, что этот обморочный ужас – любовь. Я же принял его за желание. Отвез ее домой и раздел.

В другой раз мы встретили на Джермин-стрит моего университетского знакомого Билли Уайта, бывшего итонца, члена нашего клуба бунтарей. Был он мил, носа не драл, но, пусть и против желания, всем существом источал дух высшего сословия, избранного круга, безупречных манер и тонкого вкуса. Он позвал нас в бар, попробовать первых в этом году колстерских устриц. Алисон почти не раскрывала рта, но контраст между ней и сидевшими вокруг папиными дочками был не в ее пользу. Когда Билли разливал остатки муската, она на минуточку вышла.

– Старик, она очень мила.

– Ох... – Я махнул рукой. – Да брось ты.

– Симпатичная.

– Не все же за принцессами бегать.

– Ладно, ладно.

Но я-то знал, что у него на уме.

После того как мы с ним распрощались, Алисон долго молчала. Мы ехали в Хампстед, в кино. Я заглянул ей в глаза.

– Что дуешься?

– Иной раз от вас, богатых англичков, просто блевать хочется.

– Я не из богатой семьи. Из зажиточной.

– Из богатой, из зажиточной – какая разница?

Метров через сто она снова заговорила:

– Ты делал вид, что мы с тобой едва знакомы.

– Глупости.

– Чего вы от нее хотите, она ж недавно с дерева слезла.

– Чушь какая.

– Как будто у меня дырка на брюках.

– Все гораздо сложнее.

– Да уж, где мне понять.

Однажды она сообщила:

– Завтра мне надо на собеседование.

– А ты хочешь идти?

– А ты хочешь, чтоб я пошла?

– Я-то при чем? Сама решай.

– Хорошо бы меня приняли. Просто чтоб знать: хоть на что-то гожусь.

Она заговорила о другом, и позже я не стал возвращаться к этой теме. Мог, но не стал.

А наавтра и я получил приглашение на собеседование. Алисон уже вернулась – ей показалось, что все прошло нормально. Через три дня ей сообщили, что она допущена к стажировке и должна приступить к работе в десятидневный срок.

Меня экзаменовал целый комитет обходительных чинуш. Алисон ждала у дверей, и мы отправились обедать в итальянский ресторан, чувствуя неловкость, как чужие. Она была бледная, усталая, щеки отвисли. Я спросил, чем она занималась, пока меня не было.

– Писала ответ.

– Туда?

– Туда.

– Какой?

– А ты как думаешь?

– Согласилась?

Тягостное молчание. Я знал, что она хочет услышать, но язык не поворачивался. Я был как лунатик, проснувшийся на самом краю крыши. Женитьба, обустройство – нет, к этому я не готов. В душе я не доверял ей: между нами лежало нечто пугающее, смутное, трудноопределимое, и породила его она, а не я.

– Некоторые их самолеты садятся в Афинах. Если ты попадешь в Грецию, будем видеться. А останешься в Лондоне – тем более.

И мы стали обсуждать, как тут устроимся, когда мне откажут.

Не отказали. Пришло известие, что моя кандидатура рассматривается педкомиссией в Афинах. «Простая формальность». В Греции надо быть в первых числах октября.

Поднявшись на свой этаж, я протянул письмо Алисон и не сводил с нее глаз, пока она читала. Я ожидал, что она расстроится, – ничего похожего. Поцеловала меня.

– Я же говорила!

– Говорила.

– Это нужно отпраздновать. Поехали на природу.

Я подчинился. Горевать она не собиралась, и я по трусости не задался вопросом, почему это меня так задевает. Мы поехали на природу, потом в кино, потом на танцы в Сохо; она все еще не думала горевать. Но после любви сон не шел к нам, и пришлось поговорить начистоту.

– Алисон, что мне делать завтра?

– Напиши, что согласен.

– А ты хочешь, чтобы я согласился?

– Опять двадцать пять.

Мы лежали на спине, ее глаза были открыты. Фонарь отбрасывал на потолок дрожащую тень листьев.

– Если б ты знала, как я к тебе отношусь...

– Знаю, знаю.

И опять осуждающее молчание.

Я дотронулся до ее голого плеча. Она отвела мою руку, но не отпустила.

– Ты ко мне, я к тебе – что за разговор? Не я и не ты, а *мы*. Я отношусь к тебе так же, как ты ко мне. Я ведь женщина.

В панике я сформулировал вопрос:

– Ты выйдешь за меня, если я сделаю тебе предложение?

– *Так* об этом не спрашивают.

– Да я б завтра женился на тебе, если б был уверен, что ты сама этого хочешь.

– Ох, Нико, Нико.

Ливень хлестнул в оконные стекла. Она шлепнула меня по руке. Воцарилось молчание.

– Я должен уехать из этой страны, понимаешь?

Она не ответила, но, помедлив, заговорила:

– На следующей неделе Пит возвращается.

– И что он намерен делать?

– Не бойся. Он знает.

– Откуда ты знаешь, что знает?

– Я написала ему.

– Что он ответил?

– Без обид, – выдохнула она.

– Хочешь снова быть с ним?

Она оперлась на локоть, повернула мое лицо к себе, наклонилась.

– Скажи: «Выходи за меня замуж».

– Выходи за меня замуж.

– Не выйду.

И отвернулась.

– Зачем ты это сделала?

– Так проще. Я стану стюардессой, ты уедешь в Грецию. Ты свободен.

– И ты.

– Ну хорошо, и я. Доволен?

Быстрыми, длинными волнами дождь гулял по вершинам деревьев, бил по крыше и окнам – неурочный, весенний. Казалось, спальня полна невысказанных фраз, молчаливых укуров; тревожная тишина, как на мосту, который вот-вот рухнет. Мы лежали рядом, не касаясь друг друга, барельефы на разоренной могиле кровати, до тошноты боясь облечь свои мысли в слова. Наконец она заговорила, пытаясь справиться с неожиданно охрипшим голосом:

– Я не хочу делать тебе больно, а чем больше я лезу к тебе, тем тебе больнее. И не хочу, чтобы ты делал мне больно, а чем больше ты меня отталкиваешь, тем больнее мне. – Ненадолго встала. Снова залезла в постель. – Ну как, решено?

– Похоже, да.

Больше мы не разговаривали. Скоро – по-моему, слишком скоро – она уснула.

Все утро она натужно веселилась. Я позвонил в Совет. Выслушал поздравления и напутствия мисс Спенсер-Хейг и второй раз – дай бог, последний! – пригласил ее позавтракать.

5

Алисон так и не узнала – да и сам я вряд ли отдавал себе отчет, – что в конце сентября я изменил ей с другой. Этой другой была Греция. Я поехал бы туда, даже провалив собеседование. В школе нам греческий не преподавали; все мои знания о новой Греции сводились к смерти Байрона в Миссолунги. Но в то утро в Британском совете семя упало на благодатную почву. Будто мне указали на выход из тупика, которого я до той поры не замечал. Греция... почему эта идея сразу не пришла мне в голову? *Я еду в Грецию* – звучит! Никто из моих знакомых там не был – современные мидяне, туристы, хлынули позже. Я проштудировал все книги об этой стране, какие смог достать. Меня поразило, как мало я знаю. Я читал запоем и, словно средневековый король, влюбился в изображение, еще не видя оригинала.

Словом, теперь я бежал в определенном направлении, а не куда глаза глядят. И Алисон воспринимал только в связи с поездкой в Грецию. Когда любил ее, мечтал, что мы будем там вместе; когда охладевал – что там наконец избавлюсь от нее. Сама по себе она ничего не значила.

Из педкомиссии пришла телеграмма, подтверждающая мое назначение, а потом – контракт, который я должен был подписать, и любезное письмо на ломаном английском от директора школы. Мисс Спенсер-Хейг разыскала адрес человека, работавшего там в прошлом году, – теперь он жил в Нортумберленде. Его нанимали не через Британский совет, и она о нем ничего не знала, кроме имени. Я написал ему, но ответа не получил. До отъезда оставалось десять дней.

Алисон вела себя ужасно. Квартиру на Рассел-сквер пришлось освободить, и мы три дня металась в поисках нового жилья. Наконец наткнулись на большую комнату-студию окнами на Бейкер-стрит. Сборы и переезд издергали нас обоих. Я уезжал только 2 октября, а Алисон уже начала работать, и невозможно было смириться с необходимостью рано вставать и жить по расписанию. Дважды мы крепко поругались. В первый раз затеяла ссору она, постепенно дошла до белого каления, кляла мужской пол вообще и меня в особенности. Пижон, свинья, гнусный юбочник и все в таком роде. На следующий день (за завтраком она гордо молчала) я заехал за ней на службу, зря прождал битый час и вернулся домой. Там ее тоже не было. Позвонил: нет, никого из стажеров сегодня не задержали. Злобно ждал до одиннадцати. Наконец явилась. Не говоря ни слова, сняла пальто в ванной, намазалась на ночь молочком.

– Где тебя черти носили?

– Я с тобой не разговариваю.

Склонила над плитой в закутке, который служил нам кухней. Это она настояла: жилье должно быть дешевым. А меня с души воротило от того, что приходится есть и спать в одном и том же помещении, делить с соседями ванную, шептаться и шикать, чтобы тебя не подслушали.

– Я знаю, где ты была.

– Ну и знай себе.

– Ты была у Пита.

– Так точно. У Пита. – Мутный от бешенства взгляд. – И что дальше?

– Могла бы подождать до четверга.

– А зачем ждать?

Тут я взорвался. Припомнил ей все грехи, действительные и мнимые. Не отвечая, она разделась, легла, отвернулась к стенке. Заплакала. В воцарившейся тишине я с огромным облегчением подумал, что скоро избавлюсь от всего этого. Не то чтобы я и вправду считал ее виноватой – просто не мог простить, что довела меня до беспочвенных упреков. Остыв, я сел рядом – смотреть, как слезы сочатся из-под набухших век.

– Я ждал тебя весь вечер.

- Я была в кино. А не у Пита.
- И зачем соврала?
- Потому что ты мне не доверяешь. Думаешь, что я в самом деле могу к нему пойти.
- Неужели напоследок обязательно надо все испортить?
- Я хотела покончить с собой. Если б не струсил, бросилась бы под поезд. Стояла на платформе и собиралась прыгнуть.
- Хочешь виски? – Я принес ей бокал. – Мне кажется, тебе нельзя оставаться одной. Может, кто-нибудь из стюардесс...
- Никогда больше не буду жить рядом с женщинами.
- Вернешься к Питу?
- Нахмурилась.
- А ты собираешься просить, чтобы не возвращалась?
- Нет.
- Вытянулась, уставилась в стену. Впервые за вечер слабо улыбнулась: виски подействовало.
- Как у Хогарта. «Модная любовь. Пять недель спустя».
- Мир?
- Вряд ли он когда-нибудь наступит.
- Думаешь, я стал бы весь вечер дожидаться кого-нибудь, кроме тебя?
- Думаешь, я вернулась бы сегодня к кому-нибудь, кроме тебя?
- Протянула бокал: еще. Я поцеловал ее запястье, пошел за бутылкой.
- Знаешь, о чем я думала? – спросила она вдогонку.
- Нет.
- Если б я покончила с собой, ты бы только обрадовался. Растрезвонил бы, что я умерла от любви к тебе. Поэтому я никогда не наложу на себя руки. Чтобы не удружить какому-нибудь говну вроде тебя.
- Тебе не стыдно?
- Потом я решила, что сперва надо написать записку и все объяснить. – Она еще смотрела враждебно. – В сумочке. Блокнот. – Я вытащил его. – Там, в конце.
- Две последние странички были исписаны ее детским почерком.
- Когда ты это писала?
- Читай.

Не хочу больше жить. Давно не хочу. Мне хорошо только тут, на курсах, где я думаю о деле, или когда читаю, или в кино. Или в постели. Хорошо, только когда я забываю о себе. Когда есть лишь глаза, или уши, или кожа. За два-три последних года не помню ни одной счастливой минуты. С тех пор как сделала аборт. Помню только, как иногда заставляла себя быть счастливой: посмотришь в зеркало, и кажется, что счастлива.

- Две заключительные фразы жирно зачеркнуты. Я заглянул в ее серые глаза.
- Ты все выдумываешь.
 - Я написала это сегодня, за кофе. Убила бы себя прямо в буфете, без лишнего шума, если б нашла чем.
 - Истерика какая-то.
 - А я и есть истеричка! – Почти крик.
 - И симулянтка. Специально писала, чтоб я прочел.
 - Долгая пауза. Она зажмурилась.
 - Только прочел?

И снова расплакалась, уже в моих объятиях. Я попытался ее успокоить. Обещал отложить поездку, отказаться от места – и наконец она сделала вид, что приняла эти потоки вранья за чистую монету.

Утром я уговорил ее позвонить на курсы и сказать больно́й; весь день мы провели за городом.

Назавтра – до отъезда оставалось три дня – пришла открытка с нортумберлендским штемпелем. Митфорд, человек, работавший на Фраксоне, сообщал, что вот-вот будет в Лондоне и мы сможем встретиться.

В среду я позвонил ему в офицерский клуб и пригласил выпить. Оказалось, он на два-три года старше, загорелый, с выпуклыми голубыми глазами на узком лице. То и дело поглаживал темные подполковничьи усики, одет был в темно-синий пиджак с военным галстуком. От него за версту разило солдафоном; между нами сразу завязалась партизанская война самолюбий. Он десантировался в оккупированную немцами Грецию и всех знаменитых кондотьеров тех лет называл запросто, по именам: Ксан, Падди. Соответствовать триединому стандарту истинного филэллина (джентльмен, исследователь, головорез) ему мешали ненатуральный выговор и шаткий, косноязычный жаргон пригостишки в стиле виконта Монтгомери. Догматизм, нетерпимость. Весь мир расчерчен окопами. Захмелев, я полез на рожон: заявил, что в войсках два года жил только страстным предвкушением дембеля. Глупее не придумаешь. Я хотел получить от него информацию, а вызвал неприязнь; в конце концов я признался, что мой отец был офицером регулярной армии, и спросил об острове.

Кивком он указал на застекленную стойку с закусками.

– Вот это остров. – И, тыча сигаретой: – Его местные называют... – Греческое слово. – То бишь пирог. На вид – один к одному, понял, старик? Водораздел. По одну сторону, вот тут, школа и деревня. Больше ни на северной стороне, ни на другой, южной, ничего нет. Вот такой расклад.

– А школа?

– Лучшая в стране, без балды.

– Дисциплина?

Он вскинул руку жестом каратиста.

– Работа тяжелая?

– Средней паршивости. – Глядя в зеркало за стойкой, он подкрутил усы и пробормотал названия двух или трех учебников.

Я спросил, куда пойти вечером.

– Некуда. Остров красивый, гуляй, если нравится. Птички, пчелки, жу-жу.

– А деревня?

Он мрачно усмехнулся:

– Ты что, старик, решил, что в Греции деревни такие же, как у нас? Общество – полный ноль. Учительские жены. Полдюжины чиновников. Наездом – поп с попадьей. – Вскинул подбородок, словно воротничок слишком жал. Нервный жест, скрывающий минутное колебание. – Несколько вилл. Но они десять месяцев в году заколочены.

– Да, умеешь ты утешить.

– Дыра. Что уж тут, дыра жуткая. Да и хозяева вилл тоже серятина. Кроме одного, но с ним ты вряд ли увидишься.

– Почему?

– Если честно, мы с ним поцапались, я ведь что думаю, то и режу в лицо.

– Да из-за чего?

– Мерзавец сотрудничал с немцами. Отсюда и поехало. – Он выдохнул клуб дыма. – Так что придется тебе общаться с препсоставом.

– По-английски-то они говорят?

– В основном по-французски. Есть еще грек, второй учитель английского. Тот еще раздолбай. Я раз не выдержал, засветил ему.

– Я вижу, ты там времени не терял.

Он рассмеялся.

– Не целоваться же с ними. – Почувствовал, что вышел из роли. – Крестьяне, особенно критские, – соль земли. Парни что надо. Уж поверь мне. Точно говорю.

Я спросил, почему он уехал.

– Если честно, книгу пишу. Воспоминания о войне, все такое. Издательские дела.

Было в нем что-то жалкое; одно дело – рыскать вдоль линии фронта подобно пакостному бойскауту, взрывать мосты и щеголять в живописно простреленном мундире; другое – мыкаться в пресном, благополучном мире, чувствуя себя ихтиозавром, выброшенным на берег.

– Без Англии начнешь погибаться, – частил он. – Тем более ты греческого не знаешь. Запьешь. Все пьют. поголовно. – И заговорил о речине и арецинато, раки и узо, а там и о женщинах. – К афинским девушкам не суйся, если не хочешь заработать сифак.

– А на острове?

– Глухо, старик. Таких уродок во всем Эгейском море не сыщешь. И потом – сельская честь. До самой смерти будешь на аптеку работать. Так что не советую. Я еще до острова обжегся. – Он усмехнулся с видом торгового калача.

Я довез его до дверей клуба. Промозглый день клонился к вечеру, прохожие, машины, все вокруг приобретало тускло-серый оттенок. Я спросил, почему он ушел из армии.

– Слишком уж там все заостенело, старина. В мирное время это особенно чувствуется.

Я подумал, что на самом деле, похоже, его комиссовали вчистую; за казарменными замашками в нем сквозило беспокойство припадочного.

Мы прибыли.

– Как по-твоему, я справлюсь?

Он с сомнением оглядел меня.

– Держи их в черном теле. Иначе каюк. Не поддавайся. Тот, кто был там до меня, сломался. Я его не застал, но, видно, у него крыша поехала. Не смог совладать с учениками.

Он вылез из машины.

– Ну, ни пуха, старик. – Ухмылка. – И знаешь? – Он вцепился в дверцу. – Не ходи в зал ожидания.

И захлопнул дверцу, так ловко, словно заранее подготовился. Я быстро открыл ее и, высушившись, крикнул ему вслед:

– Куда-куда?

Он обернулся, но не ответил, только махнул рукой. Толпа на Трафальгар-сквер поглотила его. Эта улыбка не шла у меня из головы. Она маскировала брешь, то, что он оставил при себе, финальную фразу, загадку. Зал ожидания, зал ожидания, зал ожидания; я повторял это снова и снова, пока не наступила ночь.

6

Я заехал за Алисон, и мы отправились в гараж, хозяин которого пообещал продать мою машину. Я-то собирался подарить машину ей, но она отказалась.

- Она будет напоминать мне о тебе.
- Тем лучше.
- Не хочу все время тебя помнить. И видеть никого на твоём сиденье не хочу.
- Может, хоть деньги заберешь? Много за нее не дадут.
- Чаевые?
- Чушь.
- Мне ничего не надо.

Но я-то знал, что она мечтает о мотороллере. Оставлю чек с надписью «На мотороллер», она должна его взять.

Последний вечер прошел на удивление спокойно, словно я уже уехал и разговариваем не мы, а наши тени. Мы обсудили, что будем делать завтра. Она не хотела меня провожать (я уезжал поездом, с вокзала Виктория); позавтракаем как обычно, она пойдет на работу, так чище и проще всего. Поговорили о будущем. Как только получится, она полетит в Афины. Если не выйдет, Рождество я справлю в Англии. Можно встретиться где-нибудь на полдороге – в Риме, в Швейцарии.

- В Алис-Спрингс, – сказала она.

Ночью мы не могли уснуть, и каждый знал, что другой не спит, а заговорить боялся. Она нашла мою руку. Мы лежали молча. Потом она сказала:

- Я буду ждать тебя. Не веришь? – Я молчал. – Мне кажется, я дождусь. Честное слово.
- Знаю.
- Ты всегда говоришь «знаю». Вместо того, чтоб ответить как следует.
- Знаю. – Она ущипнула меня. – Предположим, я скажу: да, жди, дай мне год на размышление. И ты будешь ждать, ждать.

- Подумаешь!

– Но это просто дико. Это все равно что обручиться, не решив, женишься ты или нет. А потом выяснится, что нет. Мы не должны давать обязательств. У нас нет выбора.

- Не злись. Пожалуйста, не злись.
- Посмотрим, что будет дальше.

Тишина.

- Я просто подумала, как вернусь сюда завтра вечером.
- Я буду писать. Каждый день.
- Как хорошо.
- Это же вроде теста. Сильно ли мы будем скучать.

– Я знаю, что это такое, когда уезжают. Неделю умираешь, неделю просто больно, потом начинаешь забывать, а потом кажется, что ничего и не было, что было не с тобой, и вот ты плюешь на все. И говоришь себе: бинго, это жизнь, так уж она устроена. Так уж устроена эта глупая жизнь. Как будто не потеряла что-то навсегда.

- Я не забуду тебя. Никогда не забуду.
- Забудешь. И я тебя тоже.
- Мы выдержим. Как бы печально все ни обернулось.

После долгого молчания она сказала:

- Да ты и знать не знаешь, что такое печаль.

Мы проспали. Я специально поставил будильник так, чтобы времени осталось в обрез – некогда будет рыдать. Алисон на ходу завтракала. Мы говорили обо всякой ерунде: теперь надо брать у молочника только одну бутылку, куда пропал мой читательский билет. Наконец она допила кофе, и мы оказались у двери. Я смотрел ей в лицо, словно еще не поздно, словно все – лишь дурной сон; серые глаза, пухлые щеки. Навернулись слезы, она открыла рот, чтобы что-то сказать. Не сказала, подалась ко мне, отчаянно, неловко, поцеловала так быстро, что я почти не ощутил ее губ; и была такова. Верблюжье пальто исчезло за поворотом лестницы. Не оглянулась. Я подошел к окну: она в спешке пересекала улицу, светлое пальто, соломенные волосы под цвет пальто, рука ныряет в сумочку, платок – к носу; не оглянулась ни разу. Бросилась бежать. Я отворил окно, высунулся и смотрел, пока она не свернула на Марилебон-роуд. И даже там, на самом углу, нет, не оглянулась.

Я отошел от окна, вымыл посуду, застелил постель, потом сел к столу, выписал чек на пятьдесят фунтов и написал записку.

Милая Алисон, поверь, если кто-нибудь вообще, то именно ты; мне было тяжелее, чем казалось со стороны, – ведь не психи же мы с тобой. Прошу тебя, носи сережки. Прошу тебя, возьми эти деньги, купи мотороллер и навести наши места – и вообще делай с ними что хочешь. Прошу тебя, держи себя в руках. Господи, если б я был достоин того, чтоб меня ждали...
Николас

Это должно было выглядеть экспромтом, хотя я взвешивал каждое слово несколько дней. Я положил записку и чек в конверт и пристроил его на камине рядом с гагатовыми сережками в футляре – как-то мы увидели их на витрине закрытой антикварной лавки. Потом побрился и вышел, чтобы поймать такси.

Когда машина свернула с нашей улицы, я остро ощутил, что спасся; и, пожалуй, столь же острым было мерзкое сознание, что она любила сильнее, чем я, а значит, в каком-то невыразимом смысле я выиграл. Итак, предвкушая незнаемое, вновь становясь на крыло, я наслаждался сердечной победой. Терпкое чувство; но мне нравилось терпкое. Я ехал на вокзал, как голодный идет обедать, пропустив пару фужеров мансанильи. Замурлыкал песенку – не мужественная попытка скрыть свое горе, а непристойная, откровенная жажда отпраздновать освобождение.

7

Через четыре дня я стоял на горе Гимет, над мегаполисом Афины – Пирей, над городами и предместьями, над домами, рассыпавшимися по равнине Аттики, словно мириады играль-ных костей. К югу простиралось ярко-синее предосеннее море, острова цвета светлой пемзы, а дальше, на горизонте, в роскошной оправе земли и воды, вырисовывались горы Пелопоннеса. Безмятежность, великолепие, царственность; слова затертые, но остальные тут негодились. Видимость была миль восемьдесят, бескрайний, величавый пейзаж просматривался четко, контрастно, как тысячи лет назад.

Я чувствовал себя космонавтом, стоящим по колено в марсианском тимьяне под небом, не знающим ни облаков, ни пыли. Бледные руки лондонца. Даже они теперь казались иными, чужими до тошноты, давным-давно ненужными.

В потоке средиземноморского света мир был невыносимо прекрасен, но и враждебен. Он не очищал, а разъедал. Так на допросе направляют в лицо прожектор, и уже виднеется пыточ-ный стол в соседней комнате, и уже понимаешь: прежнее твое «я» сейчас сотрут в порошок. Была в этом жуть любви, ее духовная нагота, ибо я влюбился в Грецию мгновенно, прочно и навсегда. Но было и противоположное, почти паническое чувство бессилия, унижения, словно эта страна оказалась и прелестницей, чьим чарам невозможно противиться, и высокородной гордочкой, на которую только и остается, что смотреть снизу вверх.

В книгах об этом недобром, Цирцеином свойстве, отличающем Грецию от других стран, не пишут. В Англии между человеком и тем, что осталось от природной среды с ее мягким северным светом, связь выморочная, деловая, рутинная; в Греции свет и ландшафт так пре-красны, навязчивы, сочны, своевольны, что, не желая того, относишься к ним пристрастно – с ненавистью ли, с любовью. Чтобы понять это, мне потребовались месяцы, чтобы принять – годы.

Помню себя в тот же день у окна номера, куда меня поселил усталый молодой чело-век, представитель Британского совета. Я только что написал письмо Алисон, но уже мни-лось, что она далеко – не во времени или пространстве, а в ином измерении, у которого нет имени. Может – в реальности? Внизу, на площади Конституции (главное место встреч афи-нян), толпились гуляющие – белые рубашки, темные очки, голые загорелые руки. Над столи-ками открытых кафе витал шелестящий говор. Стояла жара, как у нас в июле, на небе все так же ни облачка. На востоке виднелся Гимет, где я был утром; закатные лучи окрасили его склон в чистый, нежно-лиловый цвет цикламена. Напротив за россыпью крыш вставал темный, сплошной силуэт Акрополя – именно такой, каким его ожидаешь увидеть, и потому как бы ненастоящий. Благословенная, долгожданная неизвестность; счастливое, освежающее одино-чество Алисы в Стране чудес.

От Афин до Фраксоса – восемь восхитительных часов на пароходике к югу; остров лежит милях в шести от побережья Пелопоннеса, в окрестностях себе под стать: с севера и запада его могучей дугой обнимают горы; вдали на востоке изящная ломаная линия архипелага; на юге нежно-синяя пустыня Эгейского моря, простирающаяся до самого Крита. Фраксос прекрасен. Другие эпитеты к нему не подходят; его нельзя назвать просто красивым, живописным, чару-ющим – он прекрасен, явно и бесхитростно. У меня перехватило дух, когда я впервые увидел, как он плывет в лучах Венеры, словно властительный черный кит, по вечерним аметистовым волнам, и до сих пор у меня перехватывает дух, если я закрываю глаза и вспоминаю о нем. Даже в Эгейском море редкий остров сравнится с ним, ибо холмы его поросли соснами, средиз-емноморскими соснами, чья кора светла, как оперение вьюрка. Девять десятых поверхности

не заселены и не возделаны: лишь сосны, заливчики, тишина, море. С северо-западного края у двойной бухточки притулился элегантный выводок беленых построек.

Но, подплывая, видишь и два ляпа. Первый – это дебелая гостиница в греческо-эдвардианском стиле, над тем языком бухты, что побольше, столь же уместная на Фраксоте, как такси – в дорическом храме. Второй, не менее резко выбиваясь из пейзажа, стоит меж крайних домишек деревни, как великан среди карликов: пугающе длинное здание в несколько этажей, напоминающее (несмотря на фасад, отделанный в коринфском духе) фабрику – сходство не только внешнее, в этом мне пришлось убедиться.

Не считая школы лорда Байрона, гостиницы «Филадельфия» и деревни, остров, все тридцать квадратных миль, был девственно чист. Несколько серебряных масличных садов, заплатки террасного земледелия на крутом северном склоне; остальное – первозданный сосняк. Достопримечательности отсутствуют. Древние греки не жаловали воду из резервуаров.

Из-за нехватки пресных источников на острове нет диких животных и почти нет птиц. Удаляясь от деревни, ты попадаешь в царство тишины. Редко когда встречался в холмах зимний пастух (летом пастбища скудели) со стадом бронзовобрюхих коз, или сгорбленная крестьянка со связкой хвороста, или сборщик смолы. Таким мир был до появления техники, а может – и до человека, и каждое мелкое событие – пролетел сорокопут, попалась незнакомая тропинка, завиднелся в морской дали каик¹⁹ – приобретало несоразмерную значимость, оттененное, выделенное, одушевленное одиночеством. Нигде больше нет такого блаженного, чисто южного одиночества. Страх был чужд острову. Если его кто-то заколдовал, то нимфы, а не чудовища.

Прогулками я спасался от школы лорда Байрона с ее душной атмосферой. Прежде всего в самом этом занятии – преподавать в пансионе с программой, составленной по образцу Итона и Харроу, чуть севернее места, где Клитемнестра убила Агамемнона, – было нечто неистребимо абсурдное. Правда, профессиональный уровень учителей, заложников страны, в которой всего два университета, Митфорд явно недооценил, а ученики сами по себе ничем не отличались от своих сверстников в любой точке земного шара. Но к моему предмету они подходили слишком утилитарно. Интересовала их не литература, а техника. Пытаешься читать им поэта, именем которого названа школа, – зевают; объясняешь, как называются по-английски детали автомобиля, – приходится за уши вытаскивать их из класса после звонка; то и дело они подсовывали мне американские руководства, пестрящие терминами, в которых я находил столько же истинно греческого, сколько в детских физиономиях, жаждущих, чтобы я пересказал им текст своими словами.

И ребята, и учителя тяготились жизнью на острове. Он был для них чем-то вроде исправительного поселения, куда они угодили по доверчивости и где надо работать, работать, работать. Я-то ждал, что нравы тут будут гораздо мягче, чем в английских школах; оказалось – наоборот. Самое смешное – считалось, что именно эта неукоснительная дисциплина, кротовья неспособность оглянуться вокруг и делает школу типично английской. Может, грекам, пресыщенным самыми красивыми в мире пейзажами, и полезно посидеть в подобном муравейнике; я же просто не знал, куда деваться.

Один или два преподавателя говорили по-английски, многие – по-французски, но сойтись с ними мне не удавалось. Единственным, с кем можно было общаться, оказался Димитриадис, второй учитель английского, – исключительно потому, что владел языком свободнее прочих. Понимал длинные фразы.

Он сводил меня в кофейню, в таверны, и я стал разбираться в местной кухне и народных напевах. Но днем деревня почему-то выглядела убого. Множество заколоченных вилл; редкие прохожие на тенистых улочках; приличная еда только в двух харчевнях, где видишь все те же

¹⁹ Так в Средиземноморье называют парусные суда небольшого размера.

лица линиями левантийской провинции, скорее из времен Османской империи и Бальзака в феске, чем из 1950-х. Митфорд был прав: жуткая дыра. Раз-другой я зашел в рыбацкий кабачок. Там было веселее, но на меня смотрели косо; да и в греческом я не достиг таких вершин, чтобы понимать местный диалект.

Я спрашивал о человеке, с которым Митфорд поссорился, но все говорили, что ни о нем, ни о ссоре ничего не знают; не знают и о «зале ожидания». Митфорд явно не вылезал из деревни, и добром его никто не поминал, как и других учителей, за исключением Димитриадиса. Приходилось мириться с отрыжкой англофобии, усугубленной политической ситуацией тех дней.

Я стал пропадать в холмах. Коллеги мои и шагу бы не сделали без неотложной надобности, а ребята могли покидать школьную территорию, огражденную стеной, как колючей проволокой, только по воскресеньям, и им запрещалось углубляться в деревню дальше чем на мили. А в холмах – пьянящий простор, солнце, безлюдье. Подталкиваемый скукой, я впервые в жизни наблюдал природу и жалел, что знаю ее язык так же плохо, как греческий. Новыми глазами я смотрел на камни, птиц, цветы, рельеф, и ходьба, плавание, здоровый климат, отсутствие транспорта, наземного и воздушного (на острове не было ни одной машины, вне деревни – асфальтированных дорог, самолеты появлялись над головой раз в месяц), закалили мое тело, как никогда раньше. Казалось, вот-вот я достигну гармонии между плотью и духом. Только казалось.

Сразу по прибытии мне вручили письмо от Алисон. Очень короткое. Наверное, она написала его на работе в день моего отъезда.

Люблю тебя, хоть ты и не понимаешь, что это значит, ты никогда никого не любил. Я всю неделю пыталась до тебя достучаться. Что ж, как полюбишь – вспомни, что было сегодня. Вспомни, как я поцеловала тебя и ушла. Как шла по улице и ни разу не оглянулась. Я знала, ты смотришь в окно. Вспомни все это, вспомни: я люблю тебя. Остальное можешь забыть, но это, будь добр, помни. Я шла по улице и не оглянулась, и я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю так, что с сегодняшнего дня возненавидела.

Второе письмо пришло на следующий день. В конверте лежал разорванный чек, на одной половинке было написано: «Спасибо, не надо». Через два дня пришло третье, полное восторгов по поводу фильма, который она посмотрела, почти приятельское. Но заканчивалось оно так: «Забудь мое первое письмо. Я погорячилась. Теперь все в порядке. Долой сантименты».

Конечно, я отвечал ей, если не каждый день, то два-три раза в неделю; длинные послания с извинениями и оправданиями, пока однажды она не написала: «Оставь ты в покое наши отношения. Пиши о том, что с тобой происходит, об острове, о школе. Что у тебя на душе творится, я знаю. Пусть себе творится. Когда ты описываешь что-нибудь, я представляю, что я с тобой, вижу то, что видишь ты. И не обижайся. Простить – значит забыть».

Постепенно наша переписка с эмоций переключилась на факты. Она писала о работе, о своей новой подруге, о всяких незначительных происшествиях, фильмах, книгах. Я – о школе и острове, как она и просила. Раз она прислала фотографию – в форменном костюме. Коротко остриглась, волосы заправлены под пилотку. Улыбается, но в сочетании с формой улыбка выглядит заученной, профессиональной. Снимок насторожил меня: это уже не та Алисон – моя и ничья больше, – о какой я вспоминал с нежностью. А потом письма стали приходить раз в неделю. Память тела не продержалась и месяца, хотя иногда я хотел ее и отдал бы что угодно, лишь бы очутиться с ней в постели. Но то были симптомы воздержания, а не тоски. Как-то я подумал, что бросил бы ее, если б не остров. Писать ей вошло в привычку, перестало быть радостью, и я уже не бежал к себе в комнату, чтобы уединиться после обеда, – нет, наспех

карябал письмо в классе и в последний момент отправлял с ним мальчика к воротам, отдать школьному почтальону.

Закончилась первая четверть, и мы с Димитриадисом поехали в Афины. Он пригласил меня в предместье, в свой любимый бордель. Уверял, что девушки там здоровые. Поколебавшись, я согласился – в чем же, как не в безнравственности, нравственное превосходство поэтов, не говоря уж о циниках? Когда мы вышли оттуда, лил дождь, и тень мокрых листьев эвкалипта, освещенных рекламой над входом, напомнила мне спальню на Рассел-сквер. И Алисон, и Лондон исчезли, умерли, изгнаны; я вычеркнул их из жизни. Я решил сегодня же написать Алисон, что знать ее больше не хочу. Когда мы добрались до гостиницы, я был пьян в стельку и потому не представляю, что именно собирался написать. Что время показало: я недостойн ее верности? Что устал от нее? Что одинок как никогда и счастлив этим? Послал же ничего не значащую открытку, а перед отъездом отправился в бордель самостоятельно. Однако арабская нимфетка, к которой я шел, была занята, а другие мне не приглянулись.

Наступил декабрь, мы продолжали переписываться. Я чувствовал: она что-то скрывает. Слишком уж пресной и праведной представала в письмах ее жизнь. Когда пришло последнее, я не удивился. Неожиданна была лишь острая боль: меня предали. Не ревность даже, а зависть; минуты нежности и единения, минуты, когда двое совпадают в одно, то и дело прокручивались в моем мозгу, словно кадры пошло-слезливого фильма, который и хочешь забыть, да не в силах; я читал и перечитывал письмо; вот, значит, как это бывает: двести истасканных, замусоленных слов – и конец.

Дорогой Николас!

Не могу больше врать. Придется сделать тебе больно. Прошу тебя, поверь, я не со зла, и не сердись, что я думаю, что тебе будет больно. Так и слышу, как ты говоришь: «Ни черта мне не больно!»

Я была одна, мне было плохо. Я не писала тебе, что мне плохо, просто не знала, как об этом написать. В первые дни на работе я и виду не подавала, но зато дома – в лежку.

Я снова сплю с Питом, когда он прилетает. Уже две недели. Прошу, прошу, поверь, если бы я надеялась на... ты знаешь на что. Я знаю: знаешь. У меня с ним не так, как раньше, и не так, как с тобой, ревновать нечего.

Просто он такой понятный, с ним я ни о чем не думаю, с ним я не одна, я опять по уши в австралийских проблемах. Может, мы поженимся. Не знаю.

Кошмар. Мне все-таки хочется, чтобы мы писали друг другу письма. Я ничего не забыла.

Пока.

Алисон

С тобой было как ни с кем. Так больше ни с кем не будет. То первое письмо, в день твоего отъезда... Ну как тебе объяснишь?

Я сочинил ответ: ее письмо не застало меня врасплох, она совершенно свободна. Но не отправил. Если что-нибудь и может причинить ей боль, так это молчание; а я хотел, чтобы ей стало больно.

8

В последние дни перед Рождеством меня охватило безнадежное уныние. Я не мог побороть отвращения к работе: к урокам и к самой школе, росту слепоты и несвободы в сердце божественного пейзажа. Когда Алисон замолчала, я ощутил, что в буквальном смысле отрезан от мира. Не было на свете ни Лондона, ни Англии: дикое, страшное чувство. Два-три оксфордских знакомых, иногда славших мне весточку, не давали о себе знать. Я пытался слушать передачи зарубежной службы Би-би-си – сводки новостей доходили будто с Луны, толкуя о событиях и людях, теперь чужих для меня; а английские газеты, изредка попадавшие мне в руки, казалось, целиком состояли из материалов под рубрикой «Сегодня сотню лет назад». Похоже, все островитяне сознавали этот разрыв между собой и остальным человечеством. Каждый день часами толпились на причале, ожидая, когда на северо-востоке покажется пароход из Афин; и хоть стоянка – всего пять минут и вряд ли даже и пять пассажиров сойдут на берег или поднимутся на борт, это зрелище никому не хотелось пропускать. Мы напоминали каторжников, из последних сил уповающих на амнистию.

А остров был все-таки прекрасен. К Рождеству погода установилась ветреная, холодная. Таранные океаны антверпенской лазури ревели на галечном школьном пляже. На горы полуострова лег снег, и сверкающие белые вершины, словно сошедшие с гравюр Хокуса, с севера и запада нависали над рассерженным морем. В холмах стало еще пустынное, еще тише. Я отправлялся гулять, чтобы развеять скуку, но постепенно втягивался в поиски все новых и новых мест, где можно побыть одному. В конце концов совершенство природы начало тревожить меня. Мне здесь не было места, я не знал, как к ней подступиться, как существовать внутри нее. Я горожанин и не умею пускать корни. Я выпал из своей эпохи, но прошлое меня не принимало. Подобно Скирону²⁰, я обитал между небом и землей.

Настали рождественские каникулы. Я поехал в турне по Пелопоннесу. Мне нужно было сменить обстановку, отдохнуть от школы. Если б Алисон мне не изменила, я полетел бы к ней в Англию. Подумывал я и о том, чтобы уволиться; но это значило бы проявить слабость, снова проиграть, и я убедил себя, что к весне все наладится. Так что Рождество я встретил в Спарте, а Новый год – в Пиргосе, в полном одиночестве. В Афинах снова посетил бордель, а наутро отплыл на Фраксос.

Я не думал об Алисон специально, но совсем забыть ее не мог, как ни старался. То, как монах, зарекался иметь дело с женщинами до конца дней своих, то мечтал, чтоб подвернулась девочка поговорчивее. На острове жили албанки, суровые, желтолицые, страшные, как методистская церковь. Смущали скорее некоторые ученики, изящные, оливковые, с чувством собственного достоинства, которого так не хватает их английским собратьям из частных школ, этим безликим рыжим муравьям, питающимся прахом Арнольда²¹. Порой я чувствовал себя Андре Жидом, но головы не терял, ведь нет более ревностных гонителей педерастии, чем греческие буржуа; это для Арнольда как раз подходящая компания. Я вовсе не был голубым; просто допускал (в пику ханжам воспитателям), что у голубых тоже есть свои радости. Виновато тут не только одиночество, но и воздух Греции. Он выворачивал традиционные английские понятия о нравственном и безнравственном наизнанку; нарушить запрет или нет – каждый определял сам, в зависимости от личных склонностей: я предпочитаю один сорт сигарет, ты – другой, что ж тут терзаться? Красота и благо – не одно и то же на севере, но не в Греции. Здесь между телом и телом – лишь солнечный свет.

²⁰ Персонаж цикла мифов о Тесее, разбойник, живущий на краю высокой прибрежной скалы.

²¹ Имеется в виду Мэтью Арнольд, бывший страстным приверженцем «античной» системы воспитания молодежи.

Оставалась еще поэзия. Я взялся за стихи об острове, о Греции – вроде бы глубокие по содержанию и виртуозные по исполнению. Начал грезить о литературном признании. Часами сидел, уставясь в стену и предвкушая хвалебные рецензии, письма маститых товарищей по перу, восхищение публики, мировую известность. Гораздо позже я прочел мудрые слова Эмили Дикинсон: «Стихам читатель не нужен»; быть поэтом – всё, печатать стихи – ничто. Вымученный, изнеженный лирический герой вытеснил из меня живую личность. Школа превратилась в помеху номер один – среди этой мелочной тщеты разве отшлифуешь строку как следует?

Но в одно несчастное мартовское воскресенье пелена спала с моих глаз. Я увидел свои греческие стихи со стороны: ученические вирши, без мелодии, без композиции, банальности, неумело задрапированные обильной риторикой. В ужасе я перечитывал написанное раньше – в Оксфорде, в Восточной Англии. И эти не лучше, еще хуже, пожалуй. Правда обрушилась на меня лавиной. Поэт из тебя никакой.

В безутешном своем прозрении я клял эволюцию, сведшую в одной душе предельную тонкость чувств с предельной бездарностью. В моей душе, вопящей, словно заяц в силках. Я положил стихи перед собой, брал по листику, медлил над ним, а потом рвал в клочки, пока не заныли пальцы.

Затем я ушел в холмы, несмотря на сильный холод и начинавшийся дождь. Мир наконец объявил мне войну. Петушиться бессмысленно, я потерпел фиаско по всем пунктам. До сих пор беды подпитывали меня; из пустой породы мучений я извлекал крупницы пользы. В минуты отчаяния стихи были для меня запасным выходом, спасательным кругом, смыслом бытия. И вот круг топором пошел на дно, а я остался в воде без поддержки. Мне было так жалко себя, что я с трудом сдерживал слезы. Лицо окаменело гримасой акротерия²². Я гулял много часов, и это был настоящий ад.

Одни зависят от людей, не понимая этого; другие сознательно ставят людей в зависимость от себя. Первые – винтики, шестеренки, вторые – механики, шоферы. Но вырванного из ряда отделяет от небытия лишь возможность воплотить собственную независимость. Не *cogito*, но *scribo, pingo ergo sum*²³. День за днем небытие заполняло меня; не знакомое одиночество человека, у которого нет ни друзей, ни любимой, а именно небытие, духовная робинзонада, почти осязаемая, как раковая опухоль или туберкулезная каверна.

Не прошло и недели, как она действительно стала осязаемой: проснувшись, я обнаружил две язвочки. Нельзя сказать, что я не ожидал ничего подобного. В конце февраля я ездил в Афины и опять посетил заведение в Кефисье. Знал ведь, что рискую. Но тогда мне было все равно.

До вечера я боялся что-либо предпринять. В деревне было два врача: практикующий, в чью сферу влияния входила и школа, и замкнутый пожилой румын – он, хоть и отошел от дел, все же изредка принимал. Школьный врач дневал и ночевал в учительской, так что к нему я обратиться не мог. Пришлось пойти к доктору Пэтэреску.

Он взглянул на язвочки, выпрямился, пожал плечами.

– *Félicitations*²⁴.

– *C'est...*²⁵

– *On va voir ça à Athènes. Je vous donnerai une adresse. C'est bien à Athènes que vous l'avez attrapé, oui?* – Я кивнул. – *Les poules làbas. Infectes. Seulement les fous qui s'y laissent prendre*²⁶.

²² Статуя или барельеф на фронтоне здания.

²³ Мыслю... пишу, рисую – следовательно, существую (*лат.*).

²⁴ Поздравляю (*фр.*).

²⁵ Так это... (*фр.*)

²⁶ Придется съездить в Афины. Я вам дам адресок. Вы ведь его в Афинах заработали?... Девочки там те еще. Сплошная зараза. К ним только идиоты и ходят (*фр.*).

Он носил пенсне на желтом старческом лице, ухмылялся со злобой. Мои расспросы его позабавили. Шансы на выздоровление есть; я не заразен, но с женщинами спать пока нельзя; он лечил бы меня сам, но нужен дефицитный препарат пенициллина. Он слышал, препарат можно достать с переплатой в одной афинской частной клинике; результаты скажутся, возможно, месяца через полтора-два. Отвечал он сквозь зубы; все, что он может предложить, – устаревшая терапия, мышьяк и висмут, и в любом случае сначала нужно сдать анализы. Приязнь к роду человеческому давно покинула его, черепахи глаза внимательно следили, как я кладу на стол гонорар.

Я глупо остановился в дверях, все еще пытаюсь снискать его расположение.

– *Je suis maudit*²⁷.

Он пожал плечами и выпроводил меня на улицу – без проблеска симпатии, сморщенный вестник жизни, как она есть.

Начался кошмар. До конца семестра оставалась неделя, и сперва я решил немедленно вернуться в Англию. Но мысль о Лондоне приводила меня в содрогание; тут можно хоть как-то избежать огласки – я имею в виду не остров, а Грецию в целом. На доктора Пэтэреску положиться нельзя; кое-кто из старших преподавателей водит с ним дружбу, они часто играют в вист. В каждой улыбке, в каждом слове я искал намека на случившееся; и уже назавтра мне казалось, что на меня поглядывают с едкой насмешкой. Раз на перемене директор сказал: «Выше нос, кирьос Эрфе! Или вам не по вкусу здешние радости?» Я счел, что трудно выразиться определеннее; присутствующие рассмеялись – явно громче, чем заслуживала эта реплика сама по себе. Через три дня после визита к доктору я был уверен, что о моей болезни знают все, даже ребята. Всякий раз, как они принимались шептаться, мне слышалось слово «сифилис».

На той страшной неделе внезапно наступила весна. Всего за два дня окрестности покрылись анемонами, орхидеями, асфоделями, дикими гладиолусами; отовсюду слышалось пение перелетных стай. Кричали в ярко-синем небе изогнутые караваны аистов, пели ученики, и самые суровые преподаватели не могли удержаться от улыбок. Весь мир поднялся на крыло, а я был придавлен к земле; бесталанный Катулл, пленник безжалостной Лесбии – Греции. Меня трепала бессонница, и однажды ночью я сочинил длинное послание Алисон, где пытался объяснить, что со мной случилось, что я помню ее письмо, написанное в буфете, и теперь верю ей до конца, что я себя презираю. Но даже тут ввернул пару укоряющих фраз, ибо убедил себя, что последним и худшим моим грехом был отъезд. Надо было жениться на ней; по крайней мере, приобрел бы попутчика в этой пустыне.

Письмо я не отправил, но снова и снова, ночь за ночью, думал о самоубийстве. Похоже, вся наша семья мечена гибельным клеймом: сначала дядя, которых я не успел увидеть, – первый сгинул на Ипре, второй – при Пашенделе; потом родители. Жестокая, бессмысленная смерть, проигрыш вчистую. Алисон в лучшем положении; она ненавидит жизнь, а я сам себя ненавижу. Я ничего не создал, я принадлежу небытию, *néant*; наверное, единственное, на что я еще способен, – это покончить с собой. Признаюсь, мечтал я и о том, что моя смерть станет упреком, брошенным в лицо всем, кто когда-либо меня знал. Она оправдает цинизм, обелит одинокую самовлюбленность, останется в людской памяти финальным, мрачным триумфом.

За день до конца семестра я обрел почву под ногами. Понял, что нужно делать. У школьного привратника была старая двустволка – как-то он предлагал одолжить ее мне, чтобы поохотиться в холмах. Заглянув к нему, я напомнил об этом предложении. Он пришел в восторг и набил мой карман патронами; сосны кишели пролетными перепелами.

Пробравшись по оврагу на школьных задворках, я перевалил низкую седловину и углубился в лес. Вокруг сгустился полумрак. На севере, за проливом, купался в лучах солнца золотой полуостров. Воздух был тепел, прозрачен, небо светилось сочно-синим. Далеко позади, на

²⁷ Это проклятие какое-то на мне (*фр.*).

холме, звенели колокольчики стада – его гнали в деревню, на ночлег. Я не останавливался. Так ищут укромное местечко, чтобы облегчиться; нужно было понадежнее спрятаться от чужих глаз. Наконец я облюбовал каменистую впадину.

Зарядил ружье и сел, прислонившись к сосне. Сквозь палую хвою у подножия пробивались соцветия гиацинтов. Я повернул ружье и посмотрел в ствол, в черный нуль гибели. Прикинул наклон головы. Приставив ствол к правому глазу, повернулся так, чтобы мгlistая молния выстрела вмазалась в мозг и вышибла затылок. Потянулся к собачке – пока еще проба, репетиция, – нет, неудобно. При наклоне голова может в решающий момент сдвинуться с нужного места, и все пойдет прахом, поэтому я нашарил сухую ветку – такую, чтобы пролезла меж спусковым крючком и дужкой. Вынул патрон, вставил палку, подошвами уперся в нее – правый ствол в дюйме от глаза. Щелкнул курок. Легко. Я снова зарядил ружье.

Сзади, с холмов, донесся девичий голос. Должно быть, погоняя коз, она разливалась во все горло, без какой бы то ни было мелодии, с турецко-мусульманскими переливами. Звук шел словно из многих мест сразу; казалось, поет не человек, а пространство. Похожий голос, а может, и этот самый, я как-то уже слышал с холма за школой. Он заполнил классную комнату, ребята захихикали. Но теперь он звучал волшебю, изливаясь, из средоточия такой боли, такого одиночества, что мои боль и одиночество сразу стали пошлостью и бредом. Я сидел с ружьем на коленях, не в силах пошевелиться, а голос все плыл и плыл сквозь вечер. Не знаю, скоро ли она замолчала, но небо успело потемнеть, море поблекло и стало перламутрово-серым. Все еще яркий закат окрашивал в розовый цвет высокие облачные ленты над горами. Море и суша удерживали свет, словно он, подобно теплу, не иссякает с уходом источника излучения. А голос затихал, удаляясь к деревне; наконец замер.

Я снова поднял ружье и направил дуло в лицо. Концы палки торчали в разные стороны, ожидая, когда я надавлю на них ступнями. Ни ветерка. За много миль отсюда загудел афинский пароход, направляющийся к острову. Но меня уже окружал колокол пустоты. Смерть подошла вплотную.

Я не двигался. Я ждал. Зарево, бледно-желтое, потом бледно-зеленое, потом прозрачно-синее, как цветное стекло, сияло над горами на западе. Я ждал, я ждал, я слышал, как пароход загудел ближе, я ждал, чтобы властная тьма согнула и выпрямила мои колени; и не дождался. Я все время чувствовал, что за мной наблюдают, что я не один, что меня используют, что подобный акт можно совершить лишь экспромтом, не раздумывая – и с чистым сердцем. Ибо вместе с прохладой весенней ночи в меня все глубже проникала мысль, что движем я вовсе не сердцем, а вкусом, что превращаю собственную смерть в сенсацию, в символ, в теорему. Я хотел не просто погибнуть, но погибнуть, как Меркуцио²⁸. Умереть, чтобы помнили; а истинную смерть, истинное самоубийство необходимо постигает забвение.

А еще – голос; свет; небо.

Темнело, афинский пароход завыл совсем рядом, а я сидел и курил, отложив ружье в сторону. Теперь я знал, чего я стою. Я понимал, что отныне и навсегда заслуживаю лишь презрения. Я был и остался глубоко несчастным; но не был и никогда не стану настоящим; как сказал бы экзистенциалист, равным себе. Нет, я не наложу на себя руки, буду жить, пусть опустошенный, пусть увечный.

Я поднял ружье и наугад выстрелил вверх. Содрогнулся от грохота. Эхо, треск падающих сучьев. И обвал тишины.

– Подстрелили кого-нибудь? – спросил старый привратник.

– Всего одна попытка, – ответил я. – Промазал.

²⁸ Персонаж трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». Далее многочисленные шекспировские аллюзии в тексте Фаулза не комментируются.

9

Через несколько лет, в Пьяченце, я увидел габбью – черную железную клетку, подвешенную на высокой колокольне; некогда преступники умирали там от голода и разлагались на глазах горожан. Глядя на нее, я вспомнил ту зиму в Греции и габбью, которую смастерил для себя из света, одиночества, самообмана. Стихи и смерть, внешне противоположные, означали одно: попытку к бегству. К концу того проклятого семестра моя душа превратилась в пленника, и былые надежды корчили ей рожи сквозь кованую решетку.

Но я разыскал в Афинах клинику, куда меня направил деревенский врач. Анализ по Кану подтвердил диагноз доктора Пэтэреску. Десятидневный курс влетел в круглую сумму; большая часть лекарств была ввезена в Грецию нелегально или украдена, и мне приходилось оплачивать труды целой шайки жуликов. Угодливый молодой врач с американским дипломом уверял, что мне нечего волноваться: прогноз превосходный. После пасхальных каникул на острове меня дожидалась открытка от Алисон. Из рта аляповатого кенгуру на картинке выходил пузырь с надписью «Не забываю тебя». Мой день рождения (двадцать шесть лет) как раз пришелся на праздники, я справил его в Афинах. Открытка была из Амстердама. На обороте пусто, лишь подпись: «Алисон». Я бросил ее в корзину для бумаг. Но вечером вытащил.

Скоро должно было выясниться, вступит ли болезнь во вторичную стадию. Чтобы скрасить тяготы ожидания, я прочесывал остров вдоль и поперек. Каждый день плавал, гулял. Становилось все жарче, после обеда, в самый зной, учеников отправляли на тихий час. А я уходил в сосны, спеша перевалить водораздел и очутиться в южной части острова, подальше от школы и деревни. Тут не было ни души: три домика, спрятавшихся в одной из бухточек, часовенки, затерянные в зелени сосняка и посещаемые только в дни святых покровителей, и неприметная вилла, на которой никто не жил. А вокруг – горделивая тишь, потаенность чистого холста, предчувствие легенды. Казалось, граница света и тени поделила остров надвое; и расписание уроков, позволявшее уходить надолго лишь по воскресеньям или с утра пораньше (занятия начинались в половине восьмого), бесило, как короткий поводок.

Я не думал о будущем. Я был уверен, что лечение не поможет, что бы ни говорил врач. Линия судьбы просматривалась ясно: под уклон, на самое дно.

И тут начались чудеса.

Часть вторая

В своем блаженстве злодеи не ограничились только одним святотатством; раздев девочку, они укладывают ее на стол лицом вниз, зажигают свечи, ставят статуэтку нашего Спасителя ей на поясницу и справляют у нее на ягодицах то из почитаемых нами Святых Таинств, которое всегда приводило меня в трепет.

Де Сад. Несчастливая судьба добродетели

10

В конце мая, воскресным днем, голубым, как изнанка птичьего крыла, я взбирался по козым тропам на водораздел, противоположный склон которого до самого берега, на протяжении двух миль, устилала зеленая пена сосновых вершин.

На западе, за шелковым ковром моря, высилась тенистая горная стена материка, эхом отбрасывавшая на пять-шесть десятков миль, к южному горизонту, звон огромного колокола высот. Лазурный, изумительно чистый мир; глядя на ландшафт, что открывался с вершины, я, как всегда, позабыл о своих огорчениях. Пошел по гребню холма на запад, вдоль диаметра двух глубоких перспектив, северной и южной. Вверх по стволам сосен, как ожившие изумрудные ожерелья, скользили ящерицы. Тимьян, розмарин, разнотравье; кустарники с цветами, похожими на одуванчики, тонули в лучистой синеве неба.

Через некоторое время я достиг места, где с южной стороны поверхность шла под уклон, чтобы круто оборваться к морю. Здесь я всегда усаживался на бровку и курил, блуждая взглядом по гигантским плоскостям водной глади и гор. В то воскресенье, не успев устроиться поудобнее, я сразу заметил некую перемену в пейзаже. Внизу, на полпути к южной оконечности острова, виднелась бухта с тремя домиками на берегу. Отсюда побережье, изрезанное низкими мысами и потаенными заливчиками, изгибалось к западу. С той стороны обжитой бухты вздымалась крутая скала, вдававшаяся в глубь острова на несколько сотен ярдов, – красноватый откос, покрытый осыпями и трещинами; скала служила словно бы крепостной стеной одинокой виллы, стоявшей на мысу позади нее. Я знал лишь, что дом этот принадлежит афинянину, видимо состоятельному, который наезжал сюда только в разгар лета. С водораздела просматривалась плоская крыша, остальное заслоняли кроны сосновой рощи.

Но сейчас над крышей вилась белая струйка дыма. В дом кто-то въехал. При виде ее я разозлился злобой Робинзона, ведь теперь южная часть острова уже не безлюдна, а я чувствовал ответственность за ее чистоту. Здесь были мои тайные владения, и никто больше – тут я смилостивился над бедными рыбаками, обитателями хижин, – никто, кроме местных тружеников, не имел на них права. Вместе с тем меня одолело любопытство, и я стал спускаться по тропинке, ведущей к заливу на той стороне Бурани – так назывался мыс, на котором стояла вилла.

Наконец за соснами блеснуло море, гряда выгоревших на солнце валунов. Я вышел из леса. Передо мной лежал широкий залив: галечный пляж и стеклянная гладь воды, окольцованные двумя мысами. На левом, восточном, более крутом – это и был Бурани, – среди деревьев, росших здесь гуще, чем в любом другом месте острова, пряталась вилла. Я два или три раза бывал на этом пляже; тут, как и на большинстве пляжей Фраксосо, возникало пленительное ощущение, что ты – первый оказавшийся здесь человек, первый, кто видит, первый, кто существует, самый первый человек на Земле. На вилле не подавали признаков жизни. Я расположился у западной кромки пляжа, где дно поровнее, искупался, перекусил хлебом, масли-

нами и зузукакий (холодными ароматными фрикадельками) и за все это время не увидел ни души. Вскоре после полудня я подобрался по горячей гальке поближе к вилле. За деревьями ютилась беленая часовенка. Через трещину в двери я разглядел перевернутый стул, пустой алтарь, безыскусно выписанный иконостас. К двери было пришпилено булавками распятие из золоченой бумаги. Рядом кто-то нацарапал «Айос Димитрьос» – «Святой Димитрий». Я вернулся на пляж. Он заканчивался каменистым обрывом, поверху поросшим неприступными зарослями кустарника и сосняка. На высоте двадцати – тридцати футов тянулась не замеченная мною раньше колючая проволока; ограда сворачивала в лес, защищая мыс от вторжения. Меж ее ржавыми жгутами без труда пролезла бы и дряхлая старуха, но нигде больше на острове колючей проволоки мне видеть не доводилось, и она не пришлась мне по душе. Своим присутствием она оскорбляла мое одиночество.

Рассматривая крутой и лесистый знойный склон, я вдруг почувствовал чей-то взгляд и на себе. За мной наблюдали. Под деревьями на обрыве – никого. Я подошел поближе к скале, так что проволоочная ограда, проложенная сквозь кустарник, оказалась у меня над головой.

Ох, что это отсвечивает за обломком скалы? Синий ласт. А за ним, полускрытые бледной тенью соседнего обломка, – второй ласт и полотенце. Я снова огляделся и тронул полотенце ногой. Под ним лежала книга. Я сразу узнал обложку: одна из самых расхожих и дешевых антологий современной английской поэзии, точно такая стоит на полке в моей школьной комнате. Растерявшись, я тупо уставился на нее: не моя ли собственная украдена?

Не моя. На форзаце не было имени владельца, но над обрезом торчали аккуратно настриженные ленточки гладкой белой бумаги. Одна из них отмечала страницу, на которой кто-то обвел красными чернилами четверостишие из поэмы «Литтл-Гиддинг»:

Мы будем скитаться мыслью,
И в конце скитаний придем
Туда, откуда мы вышли,
И увидим свой край впервые²⁹.

Последние три строчки были дополнительно отчеркнуты вертикальной линией. Перед тем как перейти к следующей закладке, я вновь посмотрел вверх, на стену деревьев. На остальных заложённых страницах содержались стихи, обыгрывающие тему островов или моря. Таких было около дюжины. Вечером я отыскал некоторые из них в своей антологии.

Об островах мечтали в колыбелях...
Где страсть прозрачна и уединенна.

В строфе Одена были отмечены только эти две строки, первая и последняя. Столь же прихотливо выбирал владелец книги фрагменты из Эзры Паунда:

Не упусти же звездного отлива.
Стремись к востоку, чтоб омыться в нем,
Спеш! игла дрожит в моей груди!..
Ты не обманешь вещей ход светил.

И еще:

Дух и за гробом пребывает цел!

²⁹ Фрагмент поэмы Т. С. Элиота «Литтл-Гиддинг» в переводе А. Сергеева.

Так говорила тьма.
Ступай немедленно по дороге в ад,
Где правит Прозерпина, дочь Цереры,

К Тирегию ступай сквозь мрак нависший
Слепому, к призраку, который в преисподней
Тайн причастился, что неведомы живым,
Здесь ты закончишь путь.

Познание – лишь тень иных теней.
Но твой удел – охотиться за знанием
На ощупь, как бессмысленная тварь.

Под солнечным ветерком, обычным летним бризом Эгейского моря, лениво толкались в галечный берег волны. Ничего не происходило, все замерло в ожидании. Я второй раз за день ощутил себя Робинзоном Крузо.

Накрыв книгу полотенцем, я с независимым видом повернулся к склону, окончательно убежденный, что за мной наблюдают; потом нагнулся, поднял полотенце и книгу, переложил их на верхушку обломка, рядом с лапами, где их легче будет отыскать. Не по доброте душевной, а чтобы озадачить соглядатая. Полотенце слабо пахло косметикой – кремом для загара.

Я вернулся туда, где сложил свою одежду, уголком глаза посматривая вдоль пляжа. Вскоре я откочевал в тень сосен. Белое пятно на скале светилося в солнечных лучах. Я вытянулся и задремал. Вряд ли надолго. Но когда проснулся, вещи с того конца пляжа исчезли. Девушка – а я вообразил, что это девушка, – подобралась к ним незамеченной. Одевшись, я спустился к воде.

Знакомая тропинка к школе начиналась от центра залива. Но я заметил другую тропку, что бежала вверх по склону вдоль проволочной ограды. Взбираться будет тяжело, сквозь заросли за оградой ничего не разглядишь. В тени покачивались розовые головки диких гладиолусов, в гуще кустарника гулко, дробно затараторила какая-то пичуга. Казалось, она поет всего в нескольких футах от меня, с соловьиной стонающей основательностью, но более судорожно. Голос опасности или соблазна? Бог весть, хотя трудно было отрешиться от мысли, что запела она неспроста. Трель проклинала, переливалась, скрежетала, прищелкивала, звала.

Вдруг где-то наверху зазвенел бубенец. Птица умолкла, а я начал взбираться по склону. Снова звон колокольчика: раз, другой, третий. Похоже, кто-то извещал: время за стол, чай пить; а может, с ним баловался ребенок. Вскоре склон мыса стал положе, деревья расступились, хотя кусты росли все так же густо.

Я увидел ворота, крашенные, снабженные цепочкой. Но краска облетела, цепь заржавела, а чуть правее в изгороди зиял порядочный лаз. В глубь территории тянулась широкая, поросшая травой колея, заворачивая вниз, к берегу. Она вилась меж деревьями, так что увидеть фасад, посмотрев вдоль нее, было нельзя. Я прислушался: ни шорохов, ни голосов. Со склона вновь донеслось птичье пение.

Я увидел ее, протиснувшись в лаз. Полустертая, наспех прибитая к третьей или четвертой сосне – в Англии на таких пишут: «Частное владение. Нарушение карается законом». Но эта табличка тускло-красным по белому сообщала: SALLE D'ATTENTE. Точно ее много лет назад стащили с какого-нибудь французского вокзала; известная студенческая забава. Эмаль облупилась, обнажив язвы ржавого металла. С края зияли три или четыре дырки, похожие на пулевые отверстия. Вот о чем предупреждал меня Митфорд: не ходи в зал ожидания.

Стоя на травянистой дорожке, я не знал, идти ли мне дальше, мучимый одновременно любопытством и боязнью встретить грубый прием. Я сразу понял, что хозяин виллы – тот

самый коллаборационист, с которым Митфорд повздорил, но раньше он представлялся мне таким хитрющим, хватистым греческим Лавалем, а не человеком того уровня культуры, что позволяет читать – или принимать гостей, которые читают, – Элиота и Одена в оригинале. Разозленный своей нерешительностью, я повернул назад. Миновал лаз и зашагал по дорожке к водоразделу. Вскоре она сузилась до козьей тропы, но тропа была хоженная: сдвинутые чьей-то ногой камни оставили свежие коричневые лунки на выжженной солнцем поверхности. Достигнув водораздела, я оглянулся. С этого места дом не был виден, но я помнил, в какой стороне он находится. Море и горы плавали в ровном вечернем сиянии. Покой, первозданная стихия, пустота, золотой воздух, голубые тихие дали, как на пейзажах Клода³⁰; бредя по крутым тропкам к школе, я думал о том, до чего же утомительна и скучна северная половина острова по сравнению с южной.

³⁰ Клод Лоррен (1600–1682) – знаменитый французский художник-пейзажист и гравер.

11

Наутро, после завтрака, я подошел к столу Димитриадиса. Вчера он допоздна задержался в деревне, и у меня не хватило терпения ждать, пока он вернется. Димитриадис был низенький, толстый, обрюзгший уроженец Корфу, питавший маниакальную неприязнь к солнцу и красотам природы. Он не уставал проклинать «мерзкое» захолустье, что окружало нас на острове. В Афинах вел ночную жизнь, отдаваясь двум своим слабостям – чревоугодию и разврату. Оставшиеся после сих упражнений средства он тратил на одежду, и вид у него был вовсе не болезненный, сальный и потертый, а розовый и моложавый. Идеалом он числил Казанову. Он сильно проигрывал этому кумиру по части ярких эпизодов биографии, не говоря уж о талантах, но, при всей своей неизбывно-тоскливой развязности, оказался не столь плох, как утверждал Митфорд. В конце концов, он хотя бы не лицемерил. В нем привлекало безграничное самомнение, какому всегда хочется завидовать.

Мы вышли в сад. Прозвище Димитриадиса было Мели, «мед». Он, как ребенок, обожал сладкое.

– Мели, вы что-нибудь знаете о хозяине Бурани?

– Вы с ним познакомились?

– Нет.

– А ну! – зло прикрикнул он на мальчугана, который вырезал что-то на миндальном дереве. Маску Казановы он надевал только на выходные, в школе же был настоящим сатрапом.

– Как его зовут?

– Конхис.

– Митфорд рассказывал, что повздорил с ним. Ну, поссорился.

– Соврал. Он все время врет.

– Возможно. Но они были знакомы.

– По-по. – В устах грека это значит «не вешайте мне лапшу на уши». – Этот тип ни с кем не общается. Ни с кем. Спросите у других преподавателей.

– Но почему?

– Ну... – Он пожал плечами. – Какая-то старая история, Я не в курсе.

– Ладно вам.

– Ничего особенного.

Мы шли по вымощенной булыжником дорожке. Мели, который и секунды не мог помолчать, стал рассказывать, что он знает о Конхисе.

– Во время войны он работал на немцев. В деревне не появляется. Чтобы местные камнями не забросали. И я бросил бы, попадись он мне.

– Почему? – усмехнулся я.

– Потому что при его богатстве он мог бы жить не на этом пустынном острове, а в Париже...

Розовая ладошка его правой руки описывала в воздухе торопливые окружности – любимый жест. То была его заветнейшая мечта – квартира окнами на Сену, с потайной комнатой и прочими изысканными удобствами.

– Он знает английский?

– Должен знать. А почему он так вас интересуется?

– Совсем не интересуется. Проходил мимо его дома, вот и спросил.

Над деревьями и тропинками сада, окруженного высокой белой стеной, раздался звонок на вторую смену. По дороге в класс мы с Мели договорились, что завтра пообедаем в деревне.

Хозяин лучшей деревенской харчевни, моржеподобный здоровяк Сарантопулос, знал о Конхисе побольше. Он выпил с нами стаканчик вина, глядя, как мы поглощаем приготовленный им обед. Что Конхис затворник и не появляется в деревне – правда, а что он служил немцам – ложь. Во время оккупации его назначили деревенским старостой, и он делал все, чтобы облегчить участь местных жителей. Если его тут и не любят, так это потому, что продукты он выписывает себе из Афин. Тут хозяин разразился пространным монологом. Даже приезжие греки с трудом понимали местный диалект, а я не разобрал ни единого слова. Он проникновенно навалился на стол. Димитриадис сидел с унылым видом и знай себе чинно кивал.

– Что он говорит, Мели?

– Ничего. Одну военную байку рассказывает. Ерунда какая-то.

Вдруг Сарантопулос уставился за наши спины. Сказал что-то Димитриадису и поднялся из-за стола. Я обернулся. На пороге стоял высокий крестьянин со скорбным лицом. Он прошел в дальний конец длинной залы с голыми стенами – в том углу столовались местные. Сарантопулос взял его за плечо. Недоверчиво взглянув в нашу сторону, человек покорился и дал увлечь себя за наш столик.

– Это агойати господина Конхиса.

– Аго... Кто?

– У него есть осел. Он возит в Бурани почту и провизию.

– А как его зовут?

Его звали Гермес. Я уже притерпелся к тому, что двух не слишком сообразительных школьников зовут Сократом и Аристотелем, а недужную старуху, прибиравшую в моей комнате, – Афродитой, и потому удержался от улыбки. Усевшись, погонщик осла с некоторой неохотой принял от нас стаканчик рецины. Он перебирал кумболойи, янтарные четки. Один глаз у него был поврежден: неподвижный, с нездоровой поволокой. Из него Мели, проявлявший гораздо больший интерес к омару на своей тарелке, почти ничего не вытянул.

Чем занимается г-н Конхис? Он живет один – да, один, – с приходящей служанкой и возделывает свой сад (похоже, в буквальном смысле). Читает. У него куча книг. Фортепьяно. Знает много языков. Агойати затруднился сказать, какие именно, – по его мнению, все. Куда он уезжает на зиму? Иногда в Афины, иногда за границу. А куда за границу? Гермес не знал. Не знал и о том, что в Бурани бывал Митфорд. Там никто не бывает.

– Спросите, как он думает, могу я навестить господина Конхиса?

Нет; это невозможно.

Для Греции наше любопытство не было предосудительным – мы скорее вызвали бы подозрение, не проявив его. А вот сдержанность Гермеса – из ряда вон. Тот собрался уходить.

– Ты уверен, что он не прячет там целый гарем красоток? – спросил Мели.

Синюшный подбородок и брови агойати взметнулись в молчаливом отрицании; он презрительно повернулся к нам спиной.

– Деревенщина! – Послав ему вдогонку это худшее из греческих ругательств, Мели похлопал меня по руке влажными пальцами. – Друг мой, рассказывал ли я, как занимались любовью двое мужчин и две дамы, с которыми мне довелось познакомиться на Миконосе?

– Рассказывали. Но я могу еще раз послушать.

Я ощущал смутное разочарование. И не только оттого, что мне предстояло в третий раз выслушать, каким именно способом ублажала себя эта четверка акробатов.

До конца недели мне удалось кое-что разузнать в школе.

С довоенных времен здесь осталось только двое преподавателей. Тогда Конхис попадался им на глаза, но после возобновления занятий в 1949 году они его не встречали. Первый считал его бывшим музыкантом. Второй находил, что он законченный циник, атеист. Оба сходились в том, что человек он очень замкнутый. Во время войны немцы заставили его переселиться в

деревню. Однажды они изловили бойцов Сопротивления – андарте, – заплывших с материка, и приказали ему собственноручно казнить их. Он отказался, и его включили в группу сельчан, назначенную к расстрелу. Но он чудом не был убит наповал и спасся. Эту-то историю, несомненно, и рассказывал нам Сарантопулос. По мнению многих местных, особенно тех, у кого немцы замучили родственников, ему следовало тогда подчиниться приказу. Но дело давнее. Его ошибка – если то была ошибка – послужила к вящей славе Греции. В деревню он с тех пор, впрочем, и носа не казал.

Потом выяснилась одна незначительная, но странная вещь. Димитриадис работал в школе всего год, и о том, упоминали ли Леверье, предшественник Митфорда, и сам Митфорд о своем знакомстве с Конхисом, пришлось спрашивать у других. Все как один говорили «нет»; в первом случае это еще можно было объяснить излишней скрытностью Леверье, его «важничаньем», как выразился, стуча пальцем по лбу, какой-то преподаватель. Вышло так, что последним, к кому я обратился с расспросами, был учитель биологии, пригласивший меня к себе выпить чашечку кофе. Леверье никогда не был на вилле, заявил Каразоглу на ломаном французском, «иначе я знал бы об этом». Он ближе других зрителей сошелся с Леверье; их объединила любовь к ботанике. Порывшись в комод, вытащил коробку с цветочным гербарием, который Леверье старательно собирал. Пространные примечания, написанные удивительно четким почерком, с употреблением сложных научных терминов; несколько мастерских зарисовок тушью и акварелью. Из вежливости просматривая содержимое, я уронил на пол лист бумаги с засушенным цветком, к которому была прикреплена пояснительная записка. Скрепка ослабла, и записка упала отдельно. На обороте оказалось незаконченное письмо: строчки зачеркнуты, но что-то разобрать можно. 6 июня 1951 года – два года назад. «Дорогой г-н *Conchis*, боюсь, что невероятные события...» На этом текст обрывался.

Каразоглу я ничего не сказал, а тот ничего не заметил; но в этот момент я твердо решил наведаться к г-ну Конхису.

Не знаю точно, почему меня вдруг одолело такое любопытство. Частью из-за того, что любопытного вокруг попадалось мало, из-за надоевшей рутины; частью – из-за таинственной фразы Митфорда и записки Леверье; а частью – видимо, большей – по собственной уверенности, что я имею право на этот визит. Оба моих предшественника были знакомы с отшельником и не желали о том распространяться. Теперь, похоже, моя очередь.

А еще на этой неделе я написал Алисон. На конверте указал адрес Энн из нижней квартиры дома на Рассел-сквер с просьбой переслать письмо Алисон, где бы та ни находилась. Письмо вышло коротким: о том, что я вспоминаю о ней; выяснил, что означает «зал ожидания»; и что она может ответить, если захочет, а не захочет – я не обижусь.

Я понимал, что, живя на Фраксоте, поневоле цепляешься за прошлое. Здесь так много пространства и молчания, так мало новых лиц, что сегодняшним днем не удовлетворяешься и ушедшее видится в десятки раз ближе, чем есть на самом деле. Вполне вероятно, Алисон вот уже много недель обо мне не вспоминает, с полудюжиной мужчин успела переспать. И письмо я отправил, как бросают в море бутылку с запиской, – не слишком рассчитывая на ответ.

12

В субботу привычный солнечный ветерок сменился зноем. Наступил сезон цикад. Их дружный отрывистый стрекот, никогда не достигающий полной слаженности, режет ухо, но к нему настолько привыкаешь, что, когда они затихают под струями долгожданного дождика, тишина похожа на взрыв. Наполненный их пением, сосняк преобразился. Теперь он кишел жизнью, сочился шумом мелких невидимых движений, нарушающих его кристальную пустоту; ведь, кроме *цицикий*, в воздухе трепетали, зудели, жужжали карминнокрылые кузнечики, толстые шершни, пчелы, комары, оводы и еще тысячи безымянных насекомых. Кое-где меж деревьями висели тучи назойливых черных мух, и я спасался от них, подобно Оресту, чертыхаясь и хлопая себя по лбу³¹.

Я вновь поднялся на водораздел. Жемчужно-бирюзовое море, пепельно-синие, безветренные горы материка. Вокруг Бураны сияла зелень сосновых крон. На галечный берег неподалеку от часовни я вышел около полудня. Ни души. Никаких вещей в скалах я не обнаружил, и чувства, что за мной наблюдают, не возникало. Я искупался, перекусил: черный хлеб, окра³², жареный кальмар. Далеко на юге, пыхтя, тащил вереницу бакенных лодочек пузатый каик – точно утка с шестью утятами. Когда лодки скрылись за западным краем полуострова, темный неверный клин поднятой ими волны на нежно-голубой глади моря остался единственным напоминанием о том, что на свете есть еще кто-то, кроме меня. Беззвучный лепет искрящейся синей воды на камнях, замершие деревья, мириады крылатых моторчиков в воздухе, бескрайняя панорама молчания. Я дремал в сквозной сосновой тени, в безвременье, растворенный в природе Греции.

Тень уползла в сторону, и под прямым солнцем моей плотью овладело томление. Я вспомнил Алисон, наши любовные игры. Будь она рядом, нагая, мы занялись бы любовью на подстилке из хвои, окунулись бы и снова занялись любовью. Меня переполняла горькая грусть, смесь памяти и знания; памяти о былом и должном, знания о том, что ничего не вернуть; и в то же время смутной догадки, что всего возвращать и не стоит – например, моих пустых амбиций или сифилиса, который пока так и не проявился. Чувствовал я себя прекрасно. Бог знает, что будет дальше; да это и не важно, когда лежишь на берегу моря в такую чудесную погоду. Достаточно того, что существуешь. Я медлил, без страха ожидая, пока что-нибудь подтолкнет меня к будущему. Перевернулся на живот и предался любви с призраком Алисон, по-звериному, без стыда и укора, точно распластанная на камнях похотливая машина. И, обжигая подошвы, бросился в воду.

Взобравшись по тропинке, ведущей сквозь кустарник вдоль проволоки, и миновав облезлые ворота, я опять постоял у загадочной таблички. Поросшая травой колея петляла, забирала вниз; впереди показался просвет. Вилла, освещенные стены которой сверкали белизной, стояла ко мне тылом, отвернувшись к солнцу. Основой постройки, разросшейся в направлении моря, служил чей-то ветхий домишко. Здание было квадратное, с плоской крышей; углы фасада огибал ряд стройных колонн. Над колоннадой тянулась длинная терраса. Выйти на нее можно было через открытые окна второго этажа, доходившие до пола. С восточной стороны и на запад рядами рос шпажник и низенькие кусты с яркими алыми и желтыми цветами. Спереди, перпендикулярно берегу, располагалась длинная засыпанная гравием площадка; за ней

³¹ В классическом произведении французской экзистенциалистской литературы, пьесе Ж. П. Сартра «Мухи» (на сюжет античного мифа об Оресте) засилье этих насекомых символизирует «недолжный» образ жизни.

³² Огородное растение семейства гибискусовых.

склон круто обрывался к морю. По краям площадки росли две пальмы, заботливо окруженные белеными каменными оградками. Сосновую рощу проредили, чтобы не мешать обзору.

Облик виллы привел меня в замешательство. Она слишком напоминала Лазурный берег, была слишком чужда всему греческому. Белая и роскошная, как снега Швейцарии, она сковывала, лишала уверенности в себе.

По невысокой лестнице я поднялся на красную плитку боковой колоннады. Передо мной оказалась запертая дверь с железным молотком в форме дельфина. Ближние окна плотно зашторены. Я постучал; кафельный пол отозвался лающим эхом. Никто не открыл. Мы с домом молча ждали, потонув в жужжании насекомых. Я пошел дальше, обогнул южный угол колоннады. Здесь она расширялась, тонкие колонны стояли реже; отсюда, из густой тени, над вершинами деревьев, за морем открывались томные пепельно-лиловые горы... я ощутил то, что французы называют *déjà vu*, будто когда-то уже стоял на этом самом месте, именно перед этим арочным проемом, на рубеже тени и пылающего ландшафта... не могу объяснить точнее.

В центре колоннады были поставлены два старых плетеных стула, стол, покрытый скатертью с бело-синим национальным орнаментом, на которой разместились два прибора: чашки, блюдца, большие, накрытые муслином тарелки. У стены – ротанговая кушетка с подушками; меж высокими окнами со скобы свисает надраенный колокольчик с выцветшей коричневой кисточкой, привязанной к языку.

Заметив, что стол накрыт на двоих, я конфузливо замешкался на углу, чувствуя типично английское желание улизнуть. И тут в дверях бесшумно возникла чья-то фигура.

Это был Конхис.

13

Я сразу понял, что моего прихода ждали. При виде меня он не удивился, на лице его появилась почти издевательская улыбочка.

Был он практически лысый, выдубленный загаром, низенький, худой, неопределенного возраста – то ли шестьдесят, то ли семьдесят; одет во флотскую голубую рубашку, шорты до колен, спортивные туфли с пятнами соли. Самым поразительным в его внешности были глаза, темно-карие, почти черные, зоркие; глаза умной обезьяны с на редкость яркими белками; не верилось, что они принадлежат человеку.

Молчаливо приветствуя меня, он вскинул левую руку, скользящим шагом устремился к изгибу колоннады (вежливая фраза застряла у меня в горле) и крикнул в сторону домика:

– Мария!

В ответ послышалось неясное оханье.

– Меня зовут... – начал я, когда он обернулся.

Но он снова вскинул левую руку, на сей раз – чтобы я помолчал; взял меня за кисть и подвел к краю колоннады. Его самообладание и порывистая уверенность ошарашивали. Он окинул взглядом пейзаж, посмотрел на меня. Сюда, в тень, проникал сладковатый шафрановый аромат цветов, росших внизу, у гравийной площадки.

– Хорошо я устроился?

По-английски он говорил без акцента.

– Прекрасно. Однако позвольте мне...

Коричневая жилистая рука опять призвала к молчанию, взмахом обведя море и горы на юге, будто я мог его неправильно понять. Я искоса взглянул на него. Он был явно из тех, кто мало смеется. Лицо его напоминало бесстрастную маску. От носа к углам рта пролегали глубокие складки; они говорили об опытности, властном характере, нетерпимости к дуракам. Слегка не в своем уме – хоть и безобиден, но невменяем. Казалось, он принимает меня за кого-то другого. Обезьяньи глаза уставились на меня. Молчание и взгляд тревожили и забавляли: он словно пытался загипнотизировать какую-нибудь птичку.

Вдруг он резко встряхнул головой; странный, не рассчитанный на реакцию жест. И преобразился, точно все происходившее до сих пор было лишь розыгрышем, шарадой, подготовленной заранее и педантично исполненной с начала до конца. Я опять потерял ориентировку. Оказывается, он вовсе не псих. Даже улыбнулся, и обезьяньи глаза чуть не превратились в беличьи.

Повернулся к столу.

– Давайте пить чай.

– Я хотел попросить стакан воды. Это...

– Вы хотели познакомиться со мной. Прошу вас. Жизнь коротка.

Я сел. Второй прибор предназначался мне. Появилась старуха в черной – от ветхости серой – одежде, с лицом морщинистым, как у индейской скво. Она косо тащила поднос с изящным серебряным заварным чайником, кипятком, сахарницей, ломтиками лимона на блюде.

– Моя прислуга Мария.

Он что-то сказал ей на безупречном греческом; я разобрал свое имя и название школы. Не поднимая глаз, старуха поклонилась и составила все на стол. С ловкостью завязанного фокусника Конхис сдернул с тарелки лоскут муслина. Под ним были сэндвичи с огурцом. Он разлил чай и указал на лимон.

– Откуда вы меня знаете, господин Конхис?

– Мою фамилию лучше произносить по-английски. Через «ч». – Отхлебнул из чашки. – Когда расспрашивают Гермеса, Зевс не остается в неведении.

- Боюсь, мой коллега вел себя невежливо.
 - Вы, без сомнения, все обо мне выяснили.
 - Выяснил немного. Но тем великодушнее с вашей стороны.
- Он посмотрел на море.

– Есть такое стихотворение времен династии Тан. – Необычный горловой звук. – «Здесь, на границе, листопад. И хоть в округе одни дикари, а ты – ты за тысячу миль отсюда, две чашки всегда на моем столе».

- Всегда? – улыбнулся я.
- Я видел вас в прошлое воскресенье.
- Так это вы оставили внизу вещи?

Кивнул.

- И сегодня утром тоже видел.
- Надеюсь, я не помешал вам купаться.

– Вовсе нет. Мой пляж там. – Махнул рукой в направлении гравийной площадки. – Мне нравится быть на берегу в одиночестве. Вам, как я понимаю, тоже. Ну хорошо. Ешьте сэндвичи.

Он подлил мне заварки. Крупные чайные листья были разорваны вручную и пахли дегтем, как все китайские сорта. На второй тарелке лежало курабье – сдобное печенье конической формы, обсыпанное сахарной пудрой. Я и позабыл, как вкусен настоящий чай; меня понемногу охватывала зависть человека, живущего на казенный счет, обходящегося казенной едой и удобствами, к вольному богатству власть имущих. Сходное чувство я испытал когда-то за чаепитием у старого холостяка преподавателя в колледже Магдалины; та же зависть к его квартире, библиотеке, ровному, выверенному, расчисленному бытию.

Попробовав курабье, я одобрительно кивнул.

- Вы не первый англичанин, который оценил стряпню Марии.
- А первый – Митфорд? – Цепкий взгляд. – Я виделся с ним в Лондоне.

Он подлил чаю.

- Ну и как вам капитан Митфорд?
- Не в моем вкусе.
- Он рассказывал обо мне?
- Самую малость. Ну, что... – Он не отводил глаз. – Сказал, что поссорился с вами.
- Общение с капитаном Митфордом доводило меня до того, что я начинал стыдиться своего английского происхождения.

А я-то решил, что раскусил его; во-первых, его выговор казался хоть и правильным, но старомодным, точно в последний раз он был в Англии много лет назад; да и наружность у него как у иностранца. Он был до жути – будто близнец – похож на Пикассо; десятилетия жаркого климата придали ему черты обезьяны и ящерицы: типичный житель Средиземноморья, ценящий лишь голое естество. Секреция шимпанзе, психология пчелиной матки; воля и опыт столь же развиты, как врожденные задатки. Одевался он как попало; но самолюбование принимает и другие формы.

- Не знал, что вы из Англии.

– Я жил там до девятнадцати лет. Теперь я натурализовавшийся грек и ношу фамилию матери. Моя мать была гречанкой.

- А в Англии бываете?

– Редко. – Он быстро сменил тему. – Нравится вам мой дом? Я его сам спроектировал и выстроил.

Я огляделся.

- Завидую вам.

- А я – вам. У вас есть самое главное – молодость. Все ваши обретения впереди.

Он произнес это без унижительной дедушкиной улыбки, которой обычно сопровождаются подобные банальности; серьезное выражение лица не оставляло сомнений: он хочет, чтобы его понимали буквально.

– Хорошо. Я покину вас на несколько минут. А потом прогуляемся. – Я поднялся следом, но он махнул рукой: сидите. – Доедайте печенье. Марии будет приятно. Прошу вас.

Он вышел из тени, раскинул руки, растопырил пальцы и, сделав мне очередной ободряющий знак, скрылся в комнате. Со своего места я мог различить внутри край обитого кре-тоном дивана, вазу с молочно-белыми цветами на столике. Стена напротив двери от пола до потолка увешана книжными полками. Я стащил еще курабье. Солнце клонилось к горам, у их пепельных, тенистых подножий лениво блестело море. И тут я вздрогнул: раздалась старинная музыка, быстрое арпеджио, слишком четкое, какое не могло доноситься из радиоприемника или проигрывателя. Я перестал жевать, гадая, что за сюрприз мне приготовили.

Короткий перерыв – не для того ли, чтоб я поломал голову? Затем – мерный и гулкий звук клавикордов. Поколебавшись, я решил остаться на месте. Сначала он играл быстро, потом перешел на медленный темп; раз-другой осекся, чтобы повторить музыкальную фразу. Молча прошла через колоннаду старуха, не взглянув на меня, хотя я указал на остатки печенья и неуклюже выразил свое восхищение; хозяин-отшельник явно предпочитал немых слуг. Музыка лилась из дверного проема, обнимала меня, растворялась в солнечном свете за арками. Он прервался, повторил последний фрагмент и закончил играть – так же внезапно, как начал. Дверь закрылась, наступила тишина. Прошло пять минут, десять. Солнце подползло ко мне по красному настилу.

Все-таки нужно было войти; я обидел его. Но тут он показался в дверях:

– Я не спугнул вас?

– Ни в коем случае. Это Бах?

– Телеман.

– Вы отлично играете.

– Играл когда-то. Но не важно. Пойдемте.

В нем чувствовалась нездоровая порывистость; он словно желал отделаться – не только от меня, но и от течения времени.

Я поднялся.

– Надеюсь как-нибудь еще вас послушать. – Он слегка наклонил голову, точно не замечая моей навязчивости. – В этой глуши так скучаешь без музыки.

– Только без музыки? – И продолжал, не давая ответить: – Пойдемте же. Просперо покажет вам свои владения.

Спускаясь за ним на гравийную площадку, я сказал:

– У Просперо была дочь.

– У Просперо было много придворных. – Сухо посмотрел на меня. – И далеко не все молоды и прекрасны, господин Эрфе.

Вежливо улыбнувшись, я решил, что он намекает на события войны, и после паузы спросил:

– Вы здесь один живете?

– Для кого один. А для кого и нет, – с мрачным высокомерием сказал он, глядя прямо перед собой. То ли чтобы запутать меня еще больше, то ли потому, что чужим ответ знать не полагалось.

Он неся вперед, то и дело тыкая пальцем по сторонам. Показал мне свой огороδικ; огурцы, миндаль, пышная мушмула, фисташки. С края огорода виднелся залив, где я загорал час назад.

– Муца.

– Не слышал, чтоб его так называли.

– Албанское слово. – Он постучал по носу. – «Нюхало». По форме той вон скалы.
– Не слишком поэтичное имя для такого чудесного пляжа.
– Албанцы были пиратами, а не поэтами. Этот мыс они называли Бурани. Двести лет назад на их жаргоне это означало «тыква». И «череп». – Он пошел дальше. – Смерть и вода.

Догнав его, я спросил:

– А что это за табличка у ворот? «Salle d'attente».

– Ее повесили немецкие солдаты. Во время войны они выселили меня из Бурани.

– Но почему именно эту?

– Кажется, их перевели сюда из Франции. Они скучали в этой дыре. – Обернувшись, он заметил, что я улыбаюсь. – Да-да. От немцев и такого элементарного юмора трудно ожидать. Я бы не решился искалечить реликтовое дерево.

– Вы хорошо знаете Германию?

– Германию нельзя знать. Можно только мириться с ее существованием.

– А Бах? С ним так тяжело смириться?

Он остановился.

– Я не сужу о народе по его гениям. Я сужу о нем по национальным особенностям. Древние греки умели над собой смеяться. Римляне – нет. По той же причине Франция – культурная страна, а Испания – некультурная. Поэтому я прощаю евреям и англосаксам их бесчисленные недостатки. И поэтому, если б верил в Бога, благодарил бы его за то, что во мне нет немецкой крови.

В конце сада стояла покосившаяся беседка, оплетенная бугенвиллеей и вьюнком. Он пригласил меня внутрь. В тени у выступа скалы на пьедестале возвышался бронзовый человечек с чудовищно большим торчащим фаллосом. Руки тоже были воздеты – жестом, каким страшат детишек; на губах самозабвенная ухмылка сатира. Несмотря на небольшой рост – около восемнадцати дюймов, – фигурка внушала первобытный ужас.

– Знаете, кто это? – Он подошел вплотную ко мне.

– Пан?

– Приап. В древности такой стоял в любом саду. Отпугивал воров и приносил урожай. Их делали из грушевого дерева.

– Где вы его нашли?

– Заказал. Пойдемте.

Он говорил «Пойдемте», как греки погоняют ослов; позже я с неприятным удивлением понял, что он обращался со мной будто с батраком, которого знакомят с будущим местом работы.

Мы вернулись к дому. Отсюда, начинаясь от центра колоннады, к берегу вела широкая, крутая, извилистая тропа. В пляж вдавалась бухточка; вход в нее, не больше пятидесяти футов шириной, обрамляли скалы. Кончис выстроил здесь крохотный причал, к которому была привязана розово-зеленая лодочка – низенькая, с подвесным мотором, каких много на острове. Дальше на берегу виднелась неглубокая яма; канистры с бензином. И маленькая насосная установка – от нее по скале поднималась труба.

– Хотите искупаться?

Мы стояли на причале.

– Я забыл плавки.

– Можно и нагишом.

У него был вид шахматиста, сделавшего удачный ход. Я вспомнил, как Димитриадис прохаживался на тему английских попочек; вспомнил Приапа. Может, вот она, разгадка: Кончис – всего-навсего старый гомик?

– Что-то не хочется.

– Дело ваше.

Спустившись на пляж, мы сели на вытащенное из воды бревно.

Я закурил, посмотрел на Кончиса; попытался определить, что же он за человек. Мне было как-то не по себе. Не только потому, что на мой «необитаемый» остров вторгся некто, бегло говорящий по-английски, несомненно образованный, повидавший свет, – чуть не за одну ночь вырос на бесплодной почве, как причудливый цветок. И не только потому, что он оказался не тем, каким я себе его представлял. Нет, я чувствовал, что в прошлом году здесь и в самом деле случилось что-то таинственное, о чем Митфорд по непонятной и деликатной причине умолчал. В воздухе витала двусмысленность; нечто смутное, непредсказуемое.

– Каким ветром вас занесло сюда, господин Кончис?

– Не обидитесь, если я попрошу вас не задавать вопросов?

– Конечно нет.

– Хорошо.

Допрыгался! Я прикусил губу. Будь на моем месте кто-нибудь другой, я первый посмеялся бы над ним.

Тени сосен, росших справа на утесе, верхушками коснулись воды; над миром простерся покой, абсолютный покой; насекомые уgomонились, гладь моря застыла, как зеркало. Он молча сидел, положив руки на колени и, видимо, совершая дыхательные упражнения. Не только возраст, но и все остальное в нем было трудноопределимо. Внешне он проявлял ко мне мало интереса, но наблюдал исподтишка; наблюдал, даже глядя в противоположную сторону, и выжидал. Это началось сразу: он оставался безучастен, но наблюдал и ждал. Мы молчали, будто были так давно знакомы, что понимали друг друга без слов; и, как ни удивительно, это молчание гармонировало с безветрием дикой природы. Тишина была нарочита, но не казалась неловкой.

Вдруг он пошевелился. Вгляделся во что-то на вершине невысокой скалы по левую руку. Я обернулся. Пусто. Я посмотрел на него.

– Что там?

– Птица.

Молчание.

Я рассматривал его профиль. Сумасшедший? Издевается надо мной? Я опять попробовал завязать разговор:

– Я так понял, что вы были знакомы с обоими моими предшественниками. – Он повернулся ко мне со змеиным проворством, но не ответил. – С Леверье, – не отставал я.

– Кто вам сказал?

Его почему-то пугало, что его обсуждают за глаза. Я рассказал о записке, и он немного успокоился.

– Он был несчастен здесь. На Фраксосе.

– Митфорд говорил то же самое.

– Митфорд? – Снова обвиняющий взгляд.

– Наверное, ему в школе наболтали.

Заглянул мне в глаза, недоверчиво кивнул. Я улыбнулся, и он покривился в ответ. Опять эти странные психологические шахматы. Я, похоже, завладел инициативой, хоть и не понимал почему.

Сверху, из невидимого дома, донесся звон колокольчика. Позвонили дважды; потом, после паузы, трижды; опять дважды. Сигнал, несомненно, что-то означал; непонятное напряжение, владевшее этим местом и его хозяином и странно совпадавшее с глубоким безмолвием пейзажа, обрело звенящий голос. Кончис сразу поднялся.

– Мне пора. А вам предстоит обратный путь.

На середине склона, где крутая тропка расширялась, была устроена чугунная скамеечка. Кончис, развивший чрезмерную скорость, с облегчением уселся на нее. Он тяжело дышал; я тоже. Он прижал руку к сердцу. Я состроил озабоченное лицо, но он отмахнулся.

– Возраст, возраст. Благовещение наоборот. – Он поморщился. – Близится смерть.

Мы молча сидели, восстанавливая дыхание. В ажурных прогалах сосен сквозило желтеющее небо. С запада поднималась дымка. В вышине, замерев над покоем, клубились редкие клочья вечерних облачков.

– Вы призваны? – тихо произнес он, опять ни с того ни с сего.

– Призван?

– Чувствуете ли вы, что избраны кем-то?

– Избран?

– Джон Леверье считал, что избран Богом.

– Я не верю в Бога. И конечно, не чувствую, что избран.

– Вас еще выберут.

Я скептически улыбнулся:

– Спасибо.

– Это не комплимент. Нас призывает случай. Мы не способны призвать сами себя к чему бы то ни было.

– А избирает кто?

– Случай многолик.

Но тут он встал, хотя на мгновение задержал руку на моем плече, будто успокаивая: не обращайтесь внимания. Мы взобрались на утес. На площадке у боковой колоннады он остановился.

– Ну вот.

– Как я вам благодарен!

Я хотел, чтоб он улыбнулся в ответ, признавая, что подшутил надо мной; но на его задумчивом лице не было и тени веселья.

– Ставлю вам два условия. Первое: никому в деревне не говорите, что познакомились со мной. Это связано с тем, что случилось во время войны.

– Я слышал об этом.

– Что вы слышали?

– Одну историю.

– У этой истории два варианта. Но оставим это. Для них я затворник. Ни с кем не вижусь. Поняли?

– Конечно. Я никому не скажу.

Я догадался, каково следующее условие: больше не приходить.

– Второе условие: вы появитесь здесь через неделю. И останетесь с ночевкой, до утра понедельника. Если вас не пугает, что придется встать рано, чтобы вовремя вернуться.

– Спасибо. Спасибо большое. Буду очень рад.

– Мне кажется, нас ждет много обретений.

– «Мы будем скитаться мыслью»?

– Вы прочли это в книге на берегу?

– А разве вы не хотели, чтоб я прочел?

– Откуда я знал, что вы придете туда?

– У меня было чувство, что за мной наблюдают.

В упор наставив на меня темно-карие глаза, он не спешил отвечать. Бледная тень улыбки.

– А сейчас есть у вас такое чувство?

И снова взгляд его метнулся мне за спину, точно он что-то заметил в лесу. Я оглянулся. В соснах – никого. Посмотрел на него: шутит? Суховатая улыбочка еще дрожала на его губах.

– А что, вправду наблюдают?

– Я просто спросил, господин Эрфе. – Протянул руку. – Если вы почему-либо не сможете прийти, оставьте у Сарантопулоса записку. Гермес ее заберет. Здесь она будет на следующее утро.

С осторожностью, которую он начинал мне внушать, я пожал его руку. Ответное пожатие не имело ничего общего с вежливостью. Крепкая хватка, вопрошающий взгляд.

– Запомнили? Случайность.

– Наверное, вы правы.

– А теперь идите.

Я через силу улыбнулся. Чушь какая-то – пригласил, а потом отослал прочь, будто потерял терпение. Подождав продолжения, я холодно поклонился и поблагодарил за чай. Ответом был столь же холодный кивок. Ничего не оставалось, как уйти.

Через пятьдесят ярдов я оглянулся. Он не двинулся с места – полновластный хозяин. Я помахал ему, и он вскинул руки диковинным жреческим жестом, точно благословляя на древний манер. Когда я обернулся снова – дом почти скрылся за деревьями, – его уже не было.

Что бы ни таилось в его душе, таких людей я еще не встречал. В этом поразительном взгляде, в судорожной, испытующей и петляющей манере говорить, во внезапных оглядках в пустоту светилось нечто большее, чем обычное одиночество, старческие бредни и причуды. Но, углубляясь в лес, я и не рассчитывал в обозримом будущем найти исчерпывающую разгадку.

14

Еще издали я заметил: на краю лаза у ворот Бурани что-то белеет. Сначала решил, что это носовой платок, но, нагнувшись, увидел кремовую перчатку; и не просто перчатку, а женскую, с длинным, по локоть, раструбом. С изнанки прикреплен желтоватый ярлык, где голубыми шелковыми нитками вышиты слова *Mireille, gantière*³³. И ярлык, и перчатка выглядели невероятно старыми, выкопанными из комода на чердаке. Я втянул носом воздух – так и есть, тот же аромат, что шел тогда от полотенца: мускусный, забытый, сандаловый. Когда Кончис сказал, что на той неделе купался на Муце, меня озадачило лишь одно: этот нежный запах женской косметики.

Я начал догадываться, почему он избегает сплетен и неожиданных посещений. Правда, я не представлял, зачем ему меня-то подпускать к своей тайне, ведь уже через неделю я могу случайно раскрыть ее; не представлял, что делала эта дама среди леса в перчатках, какие аристократки надевают на скачки; не представлял, кто она такая. Любовница? Но с тем же успехом она могла быть дочерью, женой, сестрой Кончиса – слабоумной ли, престарелой. Мне пришло в голову, что в лес и к Муце ее пускают с единственным условием: никому не попадаться на глаза. В прошлое воскресенье она видела меня; а сегодня услышала мой голос и пыталась подсматривать – это объясняло быстрые взгляды старика мне за спину, да и всю его нервную настороженность. Он знал, что она «на прогулке»; отсюда и второй столовый прибор, и таинственный колокольчик.

Я обернулся, почти готовый услышать смешок, идиотское хихиканье; но при виде густого тенистого кустарника у ворот припомнил наш печальный разговор о Просперо, и у меня появилась более простая версия. Не слабоумие, а какое-то жуткое уродство. *Не все были молоды и красивы, господин Эрфе*. И я впервые почувствовал, как от безлюдья сосен по спине бежит холодок.

Солнце клонилось к горизонту; ночь в Греции наступает быстро, почти как в тропиках. В темноте спускаться по крутым тропам северного склона не хотелось. Повесив перчатку на самую середину верхней перекладки ворот, я прибавил ходу. Через полчаса меня осенила чудесная гипотеза о том, что Кончис – трансвестит. А вскоре, чего со мной не было уже несколько месяцев, я принялся напевать.

О визите к Кончису я не сказал никому, даже Мели, но часами гадал, кто же этот загадочный третий обитатель виллы. И решил, что, скорее всего, слабоумная жена; вот откуда замкнутость, молчаливые слуги.

О самом Кончисе я размышлял тоже. Я не был вполне убежден, что он не гомосексуалист; в этом случае предупреждение Митфорда было бы понятным, хотя и не слишком для меня лестным. Дерганая натужность старика, прыжки с одного места на другое, от одной темы к другой, разболтанная походка, афористическая, уклончивая манера говорить, прихотливо вскинутые на прощание руки – все эти причуды предполагали – точнее, нарочно подталкивали к предположению, – что он хочет казаться моложе и здоровее, чем есть на самом деле.

Оставался еще чудной случай с поэтической антологией, которую он явно держал наготове, чтоб ошеломить меня. В то воскресенье я долго купался, отплывал далеко от берега, и он легко мог подбросить вещи на склон Бурани, пока я был в воде. Тем не менее подобная прелюдия к знакомству выглядела чрезмерно замысловатой. И что означали его вопрос, «призван» ли я, и заявление, что «нас ждет много обретений»? Сами по себе – наверное, ничего;

³³ Галантерея Мирей (фр.).

в применении же к нему – лишь то, что он не в своем уме. «Для кого один...»; я вспомнил, с каким плохо скрытым презрением он произнес эти слова.

Я отыскал в школьной библиотеке крупномасштабную карту острова. На ней были помечены границы земельного участка Бурани. Они простирались, особенно в восточном направлении, дальше, чем я полагал: шесть или семь гектаров, почти пятнадцать акров. Снова и снова в изнурительные часы бдений над чистилищем «Курса английского языка» Экерсли я думал о вилле, угнездившейся на отдаленном мысу. Я любил уроки разговорной речи, любил занятия по усложненной программе с классом, который в школе называли «шестым языковым», – кучка восемнадцатилетних оболтусов, изучавших языки по той причине, что успехов в естественных науках от них ждать не приходилось; но бесконечная морока по натаске начинающих повергала меня в отчаяние. «Что я делаю? Я поднимаю руку. Что он делает? Он поднимает руку. Что они делают? Они поднимают руки. Их руки подняты? Да, их руки подняты».

Я находился в положении чемпиона по теннису, обреченного играть с мазилами и подавать через сетку запоротые ими мячи. То и дело поглядывая в окно на синее небо, на море и кипарисы, я молился, чтобы скорее наступил вечер и можно было уйти в учительский корпус, лечь на кровать и глотнуть узо. Казалось, зелень Бурани принадлежит совсем иному миру; она и далека, и близка одновременно; а маленькие загадки, что к концу недели стали в моих глазах просто крошечными, были всего-навсего неизбежной оскомой или случайностью – и в конечном счете оборачивались утонченным наслаждением.

15

На сей раз он дожидался меня за столом. Я отбросил к стене походную сумку, он крикнул Марии, чтоб подавала чай. Он почти не чудил – возможно, потому, что явно намеревался выудить из меня побольше сведений. Мы поговорили о школе, об Оксфорде, о моей семье, о преподавании английского как иностранного, о том, почему я поехал в Грецию. Хотя вопросы так и сыпались из него, искреннего интереса к тому, что я говорил, все-таки не чувствовалось. Его заботило другое: симптомы моего поведения, тип людей, к которому я принадлежу. Я был любопытен ему не сам по себе, но как частный случай. Раз или два я попытался поменяться с ним ролями, но он вновь дал понять, что о себе рассказывать не хочет. О перчатке я не заикался.

Лишь однажды мне, кажется, удалось удивить его по-настоящему. Он спросил, откуда моя необычная фамилия.

– Она французская. Мои предки были гугенотами.

– А-а.

– Есть такой писатель, Оноре д'Юрфе...

Быстрый взгляд.

– Вы его потомок?

– Так считается в нашей семье. Доказать это никто не пытался. Насколько мне известно. – Бедный старина д'Юрфе; сколько раз я кивал на него, намекая, что на моей персоне лежит отсвет высокой культуры давних столетий. Я улыбнулся в ответ на неподдельно теплую, чуть ли не лучезарную улыбку Кончиса. – Разве это что-то меняет?

– Просто забавно.

– Может, разговоры одни.

– Нет-нет, похоже на правду. А вы читали «Астрею»?

– К несчастью. Жуткая тягомотина.

– *Oui, un peu fade. Mais pas tout à fait sans charmes*³⁴. – Безупречное произношение; улыбка не сходила с его губ. – Так вы знаете французский!

– Плоховато.

– Я принимаю у себя прямого наследника *du grand siècle*³⁵.

– Ну уж и прямого.

Но мне было приятно, что он так думает, приятно его внезапное льстивое благоволение. Он поднялся.

– Так. В вашу честь. Сегодня я сыграю Рамо.

Повел меня в залу, занимавшую всю ширину этажа. Три стены уставлены книгами. В дальнем конце блестел зелеными изразцами очаг; на каминной полке – две бронзовые статуэтки в современном стиле. Над ними – репродукция картины Модильяни в натуральную величину: чудесный портрет печальной женщины в трауре на голубовато-зеленом фоне.

Усадив меня в кресло, он порылся в нотах, отыскал нужные; заиграл; после коротких, щебечущих пассажей – затейливые куранты или пассакалии. Они не пришлись мне по вкусу, но чувствовалось, что техника у него отличная. Где-где, а за инструментом он не бахвалился. Бросил играть неожиданно, посреди пьесы, будто задули свечу; и сразу началось прежнее лицедейство.

– *Voilà*³⁶.

³⁴ Да, нудновато. Но есть там и своя прелесть (*фр.*).

³⁵ Великой эпохи (*фр.*).

³⁶ Вот так (*фр.*).

– Очень мило. – Я решил подавить французскую тему в зародыше. – Глаз не могу оторвать, – сказал я, кивнув на репродукцию.

– Да? – Он подошел к полотну. – «Моя мать».

Сперва я подумал, что он шутит.

– Ваша мать?

– Так называется картина. На самом деле это, конечно, его мать. Вне всякого сомнения.

Взгляд женщины не был затянут снулой поволокой, обычной для портретов Модильяни. Напряженный, внимательный, обезьяний. Рассмотрев картину вблизи, я с опозданием понял: предо мной не репродукция.

– Боже милосердный. Она, верно, стоит целое состояние.

– Именно. – Он не глядел на меня. – Не думайте, что я беден, раз живу здесь без особых затей. Я очень богат. – Он произнес это так, словно «очень богат» было национальной принадлежностью; возможно, и вправду было. Я опять уставился на полотно. – Я получил ее... в подарок. За символическую плату. Хотел бы я гордиться тем, что открыл в нем гения. Не открыл. И никто не открыл. Даже хитрый господин Зборовский.

– Вы знали его?

– Модильяни? Мы встречались. Много раз. Я был знаком с его другом, Максом Жакобом. Жить ему оставалось недолго. В то время он уже выбрался из безвестности. Стал монпарнасской достопримечательностью.

Я искоса взглянул на погруженного в созерцание Кончиса; по непреложным законам тщеславной иерархии, я сразу зауважал его с удесятенной силой; его чудаковатость, актерство, мое превосходство в житейской мудрости уже не казались столь безусловными.

– Какая жалость, что вы не купили других его работ.

– Купил.

– И они до сих пор у вас?

– Конечно. Прекрасную картину способен продать только банкрот. Они хранятся в других моих домах.

Я намотал на ус это множественное число; при случае, когда понадобится пустить пыль в глаза, нужно им воспользоваться.

– А где они... другие дома?

– А это как вам нравится? – Он дотронулся до статуэтки юноши, стоявшей под полотном Модильяни. – Заготовка Родена. Другие дома... Что ж. Во Франции. В Ливане. В Америке. Я веду дела по всему миру. – Повернулся ко второй фигурке с ее неповторимой угловатостью. – А это Джакометти.

– Я потрясен. Здесь, на Фраксоне...

– Почему бы и нет?

– А воры?

– Имей вы, как я, множество ценных картин – потом покажу вам еще пару, наверху, – вам пришлось бы выбирать. Либо вы считаете их тем, что они есть, – прямоугольными холстами, покрытыми краской. Либо относитесь к ним как к золотым слиткам. Ставите на окна решетки, всю ночь ворочаетесь с боку на бок. Вот. – Он указал на статуэтки. – Крадите, если желаете. Я сообщу в полицию, но вам может повезти. Только одно у вас не выйдет – заставить меня волноваться.

– Да я к ним и близко не подойду.

– И потом, на Эгейских островах грабители не водятся. Но мне не хотелось бы, чтоб о них кто-то узнал.

– Не беспокойтесь.

– Это любопытное полотно. В единственном доступном мне полном каталоге его работ оно не упомянуто. И не подписано, как видите. И все-таки установить авторство совсем не сложно. Сейчас покажу. Беритесь за угол.

Он сдвинул к краю скульптуру Родена, и мы опустили холст. Он наклонил картину, чтобы я мог заглянуть на оборот. Несколько начальных штрихов наброска к новому портрету; в нижней половине незагрунтованного холста столбиком нацарапаны какие-то имена и цифры. Внизу, у самой рамы, проставлена общая сумма.

– Долги. Видите? «Тото». Тото – это алжирец, у которого он покупал гашиш. – Кончис указал на другую надпись. – «Збо». Зборовский.

Глядя на эти небрежные, пьяные каракули, я ощутил простодушие начертавшего их; и страшное, но закономерное одиночество гения среди обычных людей. Стрельнет у вас десять франков, а вечером напишет картину, которую позже оценят в десять миллионов. Кончис наблюдал за моим лицом.

– В музеях эту сторону не показывают.

– Бедняга.

– Он мог бы сказать то же самое о каждом из нас. И с бóльшим основанием.

Я помог ему повесить холст на место.

Он подвел меня к окнам. Небольшие, узкие, закругленные сверху, центральные перекладины и капители – из резного мрамора.

– Их я нашел в Монемвасии. В каком-то домике. Я купил весь домик.

– Так поступают американцы.

Он не улыбнулся.

– Они венецианские. Пятнадцатого века. – Взял с книжной полки альбом. – Вот...

Через его плечо я увидел знаменитое «Благовещение» фра Анджелико и сразу понял, почему колоннада показалась мне такой знакомой. И пол был тот же: выложенный красной плиткой, с белой каймой по краю.

– Ну, что вам еще показать? Эти клавикорды – очень редкая вещь. Настоящий Плейель. Не модные. Но изящные.

Он погладил их, как кота, по блестящей черной крышке. У противоположной стены стоял пюпитр. Чтобы играть на клавикордах, он не нужен.

– Вы еще каким-нибудь инструментом владеете, господин Кончис?

Взглянув на пюпитр, он покачал головой:

– Нет. Это просто трогательная реликвия. – Но по его тону не похоже было, что он тронут. – Хорошо. Ладно. Придется на некоторое время предоставить вас самому себе. Я должен разобрать почту. – Вытянул руку: – Там вы найдете газеты и журналы. Или книги – берите любую. Вы не обидитесь? Ваша комната наверху, и если хотите...

– Нет, я здесь побуду. Спасибо.

Он ушел; а я снова полюбовался Модильяни, потрогал статуэтку Родена, побродил по залу. Я чувствовал себя человеком, что стучался в хижину, а попал во дворец; ситуация в чем-то идиотская. Прихватив стопку французских и американских журналов, лежавших на столике в углу, я вышел под колоннаду. А вскоре – этого со мной тоже не было несколько месяцев – попробовал сочинить стихотворение.

Златые корни с черепа-утеса
Роняют знаки и события; маска
Ведет игру. Я – тот, кого дурачат,
Кто не умеет ждать и наблюдать,
Икар отринутый, забава века...

Он предложил закончить осмотр дома.

Мы очутились в пустой, неприглядной прихожей. В северном крыле размещались столовая, которой, по его словам, никогда не пользовались, и еще одна комната, более всего напоминавшая лавчонку букиниста: книжный развал – тома заполняют шкафы, кучами громоздятся на полу вместе с подшивками газет и журналов; на столе у окна – увесистый, еще не распакованный сверток, видимо только что присланный.

Он приблизился ко мне с циркулем.

– Я кое-что смыслю в антропологии. Можно померить ваш череп? – Протестовать было бессмысленно, я наклонил голову. Тут и там покалывая меня иглами, он спросил: – Любите читать?

Точно забыл – хотя как он мог забыть? – что в Оксфорде я изучал литературу.

– Конечно.

– И что вы читаете? – Он занес результаты измерений в блокнотик.

– Ну... в основном романы. Стихи. И критику.

– Я романов не держу.

– Ни одного?

– Роман как жанр больше не существует.

Я ухмыльнулся.

– Что вас рассмешило?

– У нас в Оксфорде так шутили. Если вы пришли на вечеринку и вам нужно завязать разговор, первый вопрос должен быть именно таким.

– Каким?

– «Не кажется ли вам, что роман как жанр больше не существует?» Хороший предлог, чтобы потрепаться.

– Понимаю. Никто не воспринимал этого всерьез.

– Никто. – Я заглянул в блокнот. – У меня какие-нибудь нестандартные размеры?

– Нет. – Он не дал мне сменить тему. – Зато я говорю серьезно. Роман умер. Умер, подобно алхимии. – Убрал руку с циркулем за спину, чтобы не отвлекаться. – Я понял это еще до войны. И знаете, что я тогда сделал? Сжег все романы, которые нашел в своей библиотеке. Диккенса. Сервантеса. Достоевского. Флобера. Великих и малых. Сжег даже собственную книгу – я написал ее в молодости, по недомыслию. Развел костер во дворе. Они горели весь день. Дым их развеялся в небе, пепел – в земле. Это было очищение огнем. С тех пор я здоров и счастлив. – Вспомнив, как уничтожал собственные рукописи, я подумал, что красивые жесты и вправду впечатляют – если они тебе по плечу. Он стряхнул пыль с какой-то книги. – Зачем продираться сквозь сотни страниц вымысла в поисках мелких доморощенных истин?

– Ради удовольствия?

– Удовольствия! – передразнил он. – Слова нужны, чтобы говорить правду. Отражать факты, а не фантазии.

– Ясно.

– Вот зачем. – Биография Франклина Рузвельта. – И вот. – Французский учебник астрофизики. – И вот. Посмотрите. – Это была старая брошюра «Назидание грешникам. Предсмертная исповедь Роберта Фулкса, убийцы. 1679». – Нате-ка, прочтите, пока вы тут. Она убедительнее всяких там исторических романов.

Его спальня, окнами на море, как и концертная на первом этаже, занимала чуть ли не всю ширину фасада. У одной стены помещались кровать – между прочим, двуспальная – и большой платяной шкаф; в другой была дверь, ведущая в какую-нибудь каморку (наверное, в туалетную). У двери стоял стол необычной формы; Кончис поднял его крышку и объяснил, что это еще одна разновидность клавикордов. В центре комнаты было устроено что-то вроде

гостиной или кабинета. Изразцовая печь, как внизу, стол, где в рабочем беспорядке лежали какие-то бумаги, два кресла с бежевой обивкой. В дальнем углу – треугольная горка, уставленная светло-голубой и зеленой изникской утварью. В начинающихся сумерках эта комната казалась уютнее, чем нижняя зала; ее к тому же отличало и отсутствие книг.

На самых выгодных местах висели две картины, обе – ню: девушки в напоенных светом интерьерах, розовых, красных, зеленых, медовых, янтарных; сияющие, теплые, мерцающие жизнью, человечностью, негой, женственностью, средиземноморским обаянием, как желтые огоньки.

– Знаете, кто это? – Я замотал головой. – Боннар. Обе написаны за пять или шесть лет до смерти. – Я замер перед холстами. Стоя у меня за спиной, он добавил: – Вот за них пришлось заплатить.

– Тут никаких денег не пожалеешь.

– Солнце. Нагота. Стул. Полотенце, умывальник. Плитка на полу. Собачка. И существование обретает смысл.

Но я смотрел на левое полотно, не на то, что он описывал. На нем была изображена девушка, стоящая спиной к зрителю у солнечного окна; она вытирала бедра, любуясь на себя в зеркало. Я увидел перед собой Алисон, голую Алисон, что слоняется по квартире и распевает песенки, как дитя. Преступная картина; она озаорила самую что ни на есть будничную сценку сочным золотым ореолом, и теперь эта сценка и иные, подобные ей, навсегда утратили будничность.

Вслед за Кончисом я прошел на террасу. У выхода на западную ее половину, у высокого окна, стоял мавританский столик с инкрустацией слоновой кости. На нем – фотография и ритуальный букет цветов.

Большой снимок в старомодной серебряной рамке. Девушка, одетая по моде эдвардианской поры, у массивной вазы с розами, на вычурном коринфском постаменте; на заднике нарисованы трогательно опадающие листья. Это была одна из тех старых фотографий, где глубокие шоколадные тени уравниваются матовой ясностью освещенных поверхностей, где запечатлено время, когда у женщин были не груди, а бюсты. Девушка на снимке обладала густой копной светлых волос, прямой осанкой, нежными припухлостями и тяжеловатой миловидностью в духе Гибсона³⁷, что так ценились в те годы. Кончис заметил мое любопытство.

– Она была моей невестой.

Я снова взглянул на карточку. В нижнем углу виднелась витиеватая, позолоченная марка фотоателье; лондонский адрес.

– Почему вы не поженились?

– Она скончалась.

– Похожа на англичанку.

– Да. – Он помолчал, разглядывая ее. На фоне блеклой, кое-как нарисованной рощицы, рядом с помпезной вазой девушка казалась безнадежно устаревшей, точно музейный экспонат. – Да, она была англичанка.

Я повернулся к нему:

– Какое имя вы носили в Англии, господин Кончис?

Он улыбнулся не так, как обычно; будто обезьяний оскал из-за прутьев клетки.

– Не помню.

– Вы так и остались холостым?

Посмотрев на фото, он медленно качнул головой.

– Пойдемте.

³⁷ Джон Гибсон (1790–1866) – скульптор, автор известной статуи Венеры (1850), вызвавшей немало упреков в безвкусице.

В юго-восточном углу Г-образной, обнесенной перилами террасы стоял стол. Уже накрытый скатертью: близился ужин. За лесом открывался великолепный вид, светлый просторный купол над землей и морем. Горы Пелопоннеса стали фиолетово-синими, в салатном небе, будто белый фонарик, сияя мягким и ровным газовым блеском, висела Венера. В дверном проеме виднелась фотография; так дети сажают кукол на подоконник, чтоб те выглядывали наружу.

Он прислонился к перилам, лицом к фасаду.

– А вы? У вас есть невеста? – Я, в свою очередь, покачал головой. – Должно быть, тут вам довольно одиноко.

– Меня предупреждали.

– Симпатичный молодой человек в расцвете сил.

– Вообще у меня была девушка, но...

– Но?

– Долго объяснять.

– Она англичанка?

Я вспомнил Боннара; это и есть реальность; такие мгновения; о них не расскажешь. Я улыбнулся:

– Можно, я попрошу вас о том же, о чем просили вы неделю назад: не задавать вопросов?

– Конечно.

Воцарилось молчание, то напряженное молчание, в какое он втянул меня на берегу в прошлую субботу. Наконец он повернулся к морю и заговорил:

– Греция – как зеркало. Она сперва мучит вас. А потом вы привыкаете.

– Жить в одиночестве?

– Просто жить. В меру своего разума. Однажды – прошло уже много лет – сюда, в ветхую заброшенную хижину на дальней оконечности острова, там, под Акилой, приехал доживать свои дни некий швейцарец. Ему было столько, сколько мне теперь. Он всю жизнь мастерил часы и читал книги о Греции. Даже древнегреческий самостоятельно выучил. Сам отремонтировал хижину. Очистил резервуары, разбил огород. Его страстью – вы не поверите – стали козы. Он приобрел одну, потом другую. Потом – небольшое стадо. Ночевали они в его комнате. Всегда вылизанные. Причесанные волосок к волоску: ведь он был швейцарец. Весной он иногда заходил ко мне, и мы изо всех сил старались не допустить весь этот сераль в дом. Он выучился делать чудесный сыр – в Афинах за него щедро платили. Но он был одинок. Никто не писал ему писем. Не приезжал в гости. Совершенно один. Счастливее человека я, по-моему, не встречал.

– А что с ним стало потом?

– Умер в тридцать седьмом. От удара. Нашли его лишь через две недели. Козы к тому времени тоже подошли. Стояла зима, и дверь, естественно, была заперта изнутри.

Глядя мне прямо в глаза, Кончис скорчил гримасу, будто смерть казалась ему чем-то забавным. Кожа плотно обтягивала его череп. Жили только глаза. Мне пришла дикая мысль, что он притворяется самой смертью; выдубленная старая кожа и глазные яблоки вот-вот отвалятся, и я окажусь в гостях у скелета.

Чуть погода мы вернулись в дом. В северном крыле второго этажа располагались еще три комнаты. Первая – кладовка; туда мы заглянули мельком. Я различил груды корзин, зачехленную мебель. Затем шла ванная, а рядом – спальня. На застланной постели лежала моя походная сумка. Я гадал: где, за какой дверью комната женщины, обронившей перчатку? Потом решил, что она живет в домике – наверное, Мария за ней присматривает; а может, эта комната, отведенная мне на субботу и воскресенье, в остальные дни принадлежит ей.

Он протянул мне брошюру XVII века, которую я забыл на столе в прихожей.

– Примерно через полчаса время моего аперитива. Вы спуститесь?

- Непременно.
- Мне нужно вам кое-что сообщить.
- Да-да?
- Вам говорили обо мне гадости?
- Я слышал о вас только одну историю, весьма лестную.
- Расстрел?
- Я в прошлый раз рассказывал.
- Мне кажется, вам не только об этом говорили. Например, капитан Митфорд.
- Больше ничего. Уверю вас.

Стоя на пороге, он вложил во взгляд всю свою проницательность. Похоже, он собирался с силами; решил, что никаких тайн оставаться не должно; наконец произнес:

- Я духовидец.

Тишина наполнила виллу; внезапно все, что происходило раньше, обрело логику.

- Боюсь, я вовсе не духовидец. Увы.

Нас захлестнули сумерки; двое, не отрывающие глаз друг от друга. Слышно было, как в его комнате тикают часы.

- Это не важно. Через полчаса?
- Для чего вы сказали мне об этом?

Он повернулся к столику у двери, чиркнул спичкой, чтобы зажечь керосиновую лампу, старательно отрегулировал фитиль, заставляя меня дожидаться ответа. Наконец выпрямился, улыбнулся:

- Потому что я духовидец.

Спустился по лестнице, пересек прихожую, скрылся в своей комнате. Дверь захлопнулась, и снова нахлынула тишина.

16

Кровать оказалась дешевой, железной. Обстановку составляли еще один столик, ковер, кресло и дряхлое, закрытое на ключ кассоне, какое стоит в каждом доме на Фраксоне. Спальню для гостей на вилле миллионера я представлял совсем иначе. На стенах не было украшений, кроме фотографии, где группа островитян позировала на фоне какого-то дома – нет, не какого-то, а *этого*. В центре – моложавый Кончис в соломенной шляпе и шортах; и единственная женщина, крестьянка, но не Мария, ибо на снимке ей столько же, сколько Марии сейчас, а сделана фотография явно двадцать или тридцать лет назад. Я поднял лампу и повернул карточку, чтобы посмотреть, не написано ли что-нибудь на обороте. Но узрел лишь поджарого геккона, что враспырку висел на стене и встретил меня затуманенным взглядом. Гекконы предпочитают помещения, где люди постоянно не живут.

На столе у изголовья лежали плоская раковина, заменяющая пепельницу, и три книги: сборник рассказов о привидениях, потрепанная Библия и тонкий том большого формата, озаглавленный «Красоты природы». Байки о призраках подавались как документальные, «подтвержденные по крайней мере двумя заслуживающими доверия очевидцами». Оглавление – «Дом отца Борли», «Остров хорька-оборотня», «Деннингтон-роуд, 18», «Хромой» – напомнило мне дни отрочества, когда я болел. Я взялся за «Красоты природы». Выяснилось, что вся природа – женского пола, а красоты ее сосредоточены в грудях. Груды разных сортов, во всех мыслимых ракурсах и позициях, крупнее и крупнее, а на последнем снимке – грудь во весь объектив, с темным соском, неестественно набухшим в центре глянцевого листа. Они были слишком навязчивы, чтобы возбуждать сладострастное чувство.

Захватив лампу, я отправился в ванную, комфортабельную, с богатой аптечкой. Тщетно искал признаков пребывания женщины. Вода текла холодная и соленая; чисто мужские условия.

Вернувшись в спальню, я улегся. Небо в открытом окне светилось бледной вечерней голубизной, сквозь кроны деревьев едва виднелись первые северные звезды. Снаружи монотонно, с веберновской нестройностью, но не сбиваясь с ритма, стрекотали кузнечики. Из домика под окном слышались суета, запах готовки. На вилле – ни шороха.

Кончис все больше сбивал меня с толку. То держался столь категорично, что хотелось смеяться, вести себя на английский, традиционно ксенофобский, высокомерный манер; то, почти против моей воли, внушал уважение – и не просто как богатей, обладающий завидными произведениями искусства. А сейчас он напугал меня. То был необъяснимый страх перед сверхъестественным, над которым я всегда потешался; но меня не оставляло чувство, что позвали меня сюда не из радушия, а по иной причине. Он собирался каким-то образом использовать меня. Гомосексуализм тут ни при чем; у него были удобные случаи, и он их упустил. Да и Боннар, невеста, альбом грудей – нет, дело не в гомосексуализме.

Я столкнулся с чем-то гораздо более экзотичным. *Вы призваны?.. Я духовидец...* Все указывало на спиритизм, столоверчение. Возможно, дама с перчаткой – какой-нибудь медиум. У Кончиса, конечно, нет мелкобуржуазных амбиций и пропитого говорка, обычных для устроителей «сеансов»; но в то же время он явно не простой обыватель.

Сделав несколько затяжек, я улыбнулся. В этой убогой комнатухе не перед кем прикидываться. Ведь на деле я дрожал от предвкушения дальнейших событий. Кончис – просто случайный посредник, шанс, подвернувшийся в удачный момент; как некогда, после целомудренного оксфордского семестра, я знакомился с девушкой и начинал с ней роман, так и здесь намечалось что-то пикантное. Станным образом сопряженное с проснувшейся во мне тоской по Алисон. Снова хотелось жить.

В доме стояла смертная тишь, как внутри черепа; но шел 1953 год, я не верил в Бога и уж ни капли – в спиритизм, духов и прочую дребедень. Я лежал, дожидаясь, пока минует полчаса; и в тот вечер тишина виллы еще дышала скорее покоем, нежели страхом.

17

Спустившись в концертную, я не застал там Кончиса, хотя лампа горела. На столе у очага – поднос с бутылкой узо, кувшином воды, бокалами и блюдом спелых, иссиня-черных амфиских маслин. Я плеснул себе узо, разбавил, так что напиток стал мутным и беловатым. Затем, с бокалом в руке, прошелся вдоль книжных полок. Книги аккуратно расставлены по темам. Два шкафа медицинских трудов, в основном французских, в том числе немало (что плохо сочеталось со спиритизмом) исследований по психиатрии, и еще два – по другим отраслям естествознания; несколько полок с философскими трактатами, столько же – с книгами по ботанике и орнитологии, чаще английскими и немецкими; остальную часть библиотеки в подавляющем большинстве составляли автобиографии и биографии. Пожалуй, не одна тысяча. Они были подобраны без видимого принципа: Вордсворт, Мэй Уэст, Сен-Симон, гении, преступники, святые, ничтожества. Безликая пестрота, как в платной читалке.

За клавирами, под окном, помещалась низенькая стеклянная горка с античными вещицами. Ритон в виде человеческой головы, килик с черным рисунком; на другом конце – краснофигурная амфорка. На крышке стояли еще три предмета: фотография, часы XVIII столетия и табакерка белой финифти. Я обошел тумбу, чтоб поближе рассмотреть греческую утварь. Рисунок на внутренней стороне неглубокого килика потряс меня. Он изображал женщину с двумя сатирами и был крайне непристой. Роспись амфоры также не решился бы выставить на обозрение никакой музей.

Потом я наклонился к часам. Корпус из золоченой бронзы, эмалевый циферблат. В центре – голый розовый купидончик; часовая стрелка крепилась к его бедрам, и закругленный набалдашник не оставлял сомнений в том, что она призвана обозначать. Цифр на часах не было, вся правая половина зачернена, и на ней белым написано «Сон». На другой, белой половине черными аккуратными буквами выведены потускневшие, но еще различимые слова: на месте цифры 6 – «Свидание», 8 – «Соблазн», 10 – «Восстание», 12 – «Экстаз». Купидон улыбался; часы стояли, и его мужской атрибут косо застыл на восьми. Я открыл невинную белую табакерку. Под крышечкой разыгрывалась та же, только решенная в манере Буше, сцена, которую некий древний грек изобразил двумя тысячелетиями ранее на килике.

Между двумя этими произведениями Кончис (руководствуясь извращенностью ли, чувством юмора или просто дурным вкусом – я так и не смог решить) поместил второй снимок эдвардианской девушки, своей умершей невесты.

Ее живые, смеющиеся глаза смотрели на меня из овальной серебряной рамки. Поразительно белую кожу и чудесную шею подчеркивало пошлое декольте, талию, как белую туфлю, перехватывала обильная шнуровка. На ключице кричащий черный бант. Она казалась совсем юной, будто впервые надела вечернее платье; на этом снимке ее черты не были такими тяжеловесными; скорее изысканными, с печатью беды и стыдливой радости, что ее определили в царницы этой кунсткамеры.

Наверху хлопнула дверь, я обернулся. Портрет работы Модильяни уставился на меня с неприкрытой злобой, так что я выскользнул под колоннаду, где меня через минуту и нашел Кончис. Он переоделся в светлые брюки и темную шерстяную куртку. Молча приветствовал меня, стоя в нежном свете, люющем из комнаты. Горы, туманные и черные, как пласты древесного угля, едва различались вдаль, за ними еще не угасло закатное зарево. Но над головой – я наполовину спустился к гравийной площадке – высыпали звезды. Они блистали не так яростно, как в Англии; умиротворенно, точно плавали в прозрачном масле.

– Спасибо за чтение на сон грядущий.

– Если в шкафах вас что-нибудь заинтересует сильнее, возьмите. Прошу вас.

Из темного леса у восточной стороны дома донесся странный крик. Вечерами в школе я уже слышал его, и сперва мне чудилось, что это вопли какого-нибудь деревенского придурка. Высокий, с правильными интервалами. Кью. Кью. Кью. Будто пролетный, безутешный кондуктор автобуса.

– Моя подруга кричит, – сказал Кончис.

Мне было пришла абсурдная, пугающая мысль, что он имеет в виду женщину с перчаткой. Я представил, как она в своих аристократических одеяниях несется по лесу, тщетно призывая Кью. В ночи опять закричали, жутко и бессмысленно. Кончис не спеша досчитал до пяти, и крик повторился, не успел он поднять руку. Снова до пяти, и снова крик.

– Кто это?

– Otus scops. Сплюшка. Махонькая. Сантиметров двадцать. Вот такая.

– У вас много книг о птицах.

– Интересуюсь орнитологией.

– И медицину изучали?

– Изучал. Давным-давно.

– А практиковали?

– Только на самом себе.

Далеко в море, на востоке, сияли огни афинского парохода. Субботними вечерами он совершал рейс на юг, к Китире. Дальний корабль, вместо того чтобы напоминать о повседневности, казалось, лишь усиливал затерянное, тайное очарование Бурани. Я решился:

– Что вы имели в виду, когда сказали, что вы духовидец?

– А вы как думаете – что?

– Спиритизм?

– Инфантилизм.

– С моей стороны?

– Естественно.

Его лицо еле различалось в темноте. В свете лампы, падающем из открытой двери, он видел меня лучше, ибо во время разговора я повернулся к фасаду.

– Вы так и не ответили.

– Подобная реакция характерна для вашего века с его пафосом противоречия: усомниться, опровергнуть. Никакой вежливостью вы это не скроете. Вы как дикобраз. Когда иглы этого животного подняты, оно не способно есть. А если не ешь, приходится голодать. И щетина ваша умрет, как и весь организм.

Я покачал бокалом с остатками узо:

– Это ведь и ваш век, не только мой.

– Я провел много времени в иных эрах.

– Читая книги?

– Нет, на самом деле.

Сова опять принялась кричать – равные, мерные промежутки. В соснах сгущалась мгла.

– Перевоплощение?

– Ерунда.

– В таком случае... – Я пожал плечами.

– Человеку не дано раздвинуть рамки собственной жизни. Так что остается единственный способ побывать в иных эрах.

Я поразмыслил.

– Сдаюсь.

– Чем сдаваться, посмотрели бы вверх. Что там?

– Звезды. Космос.

– А еще? Вы знаете, что они там. Хоть их и не видно.

– Другие планеты?

Я повернулся к нему. Он сидел неподвижно – темный силуэт. По спине пробежал холодок. Он прочел мои мысли.

– Я сумасшедший?

– Вы ошибаетесь.

– Нет. Не сумасшедший и не ошибаюсь.

– Вы... летаете на другие планеты?

– Да. Я летаю на другие планеты.

Поставив бокал, я вытащил сигарету и закурил, прежде чем задать следующий вопрос:

– Физически?

– Я отвечу, если вы объясните, где кончается физическое и начинается духовное.

– И у вас... э-э... есть доказательства?

– Бесспорные. – Он сделал паузу. – Для тех, кто достаточно умен, чтоб оценить их.

– Это вы и подразумеваете под призыванием и духовидением?

– И это тоже.

Я умолк, поняв, что необходимо наконец выбрать линию поведения. Во мне, несмотря на определенный опыт общения с ним, крепла инстинктивная враждебность; так вода в силу естественных законов отталкивает масло. Лучше всего, пожалуй, вежливый скепсис.

– И вы... так сказать, летаете... с помощью телепатии, что ли?

Не успел он ответить, как под колоннадой раздалось вкрадчивое шарканье. Подойдя к нам, Мария поклонилась.

– Сас эвхаристуме, Мария. Ужин готов, – произнес Кончис.

Мы встали и отправились в концертную. Опуская бокал на поднос, он заметил:

– Не все можно объяснить словами.

Я отвел глаза.

– В Оксфорде нам твердили, что если словами не выходит, другим путем и пробовать нечего.

– Очень хорошо. – Улыбка. – Разрешите называть вас Николасом.

– Конечно. Пожалуйста.

Он плеснул в бокалы узо. Мы подняли их и чокнулись.

– Эйсийя сас, Николас.

– Сийя.

Но и тут у меня осталось сильное подозрение, что пьет он вовсе не за мое здоровье.

В углу террасы поблескивал стол – чинный островок стекла и серебра посреди мрака. Горела единственная лампа, высокая, с темным абажуром; падая отвесно, свет сгущался на белой скатерти и, отраженный, причудливо, как на полотнах Караваджо, выхватывал из темноты наши лица.

Ужин был превосходен. Рыбешки, приготовленные в вине, чудесный цыпленок, сыр с пряным ароматом трав и медово-творожный коржик, сделанный, если верить Кончису, по турецкому средневековому рецепту. Вино отдавало смолой, точно виноградник рос где-то в гуще соснового леса – не в пример гнилостно-скипидарному пойлу, какое я пробовал в деревне. За едой мы почти не разговаривали. Ему это явно было по душе. Если и обменивались замечаниями, то о кушаньях. Он ел медленно и очень мало, и я все подмел за двоих.

На десерт Мария принесла кофе по-турецки в медном кофейнике и убрала лампу, вокруг которой уже вилась туча насекомых. Заменяла ее свечой. Огонек ровно вздымался в безветренном воздухе; назойливые мотыльки то и дело метались вокруг, опаляли крылья, трепетали и скрывались из глаз. Закурив, я, как Кончис, повернул стул к морю. Ему хотелось помолчать, и я набрался терпения.

Вдруг по гравию зашуршали шаги. Они удалялись в сторону берега. Сперва я решил, что это Мария, хоть и непонятно было, что ей понадобилось на пляже в такой час. Но сразу сообразил, что шаги не могут быть ее шагами, как и перчатка не могла принадлежать к ее гардеробу.

Легкая, быстрая, осторожная поступь, словно кто-то боится, что его услышат. С подобной легкостью мог бы идти какой-нибудь ребенок. С моего места заглянуть за перила не получалось. Кончис смотрел в темноту, будто звук шагов был в порядке вещей. Я осторожно подался вперед и вытянул шею. Но шаги уже стихли. На свечу со страшной скоростью насканивала большая бабочка, упорно и неистово, будто леской привязанная к фитилю. Кончис нагнулся и задул пламя.

– Посидим в темноте. Вы не против?

– Вовсе нет.

Мне пришло в голову, что это и вправду мог быть ребенок. Из хижины, что стоят в восточной бухте; должно быть, приходил помочь Марии по хозяйству.

– Надо объяснить вам, почему я здесь поселился.

– Отличная резиденция. Вам просто повезло.

– Конечно. Но я не о планировке. – Он помолчал, подбирая точные слова. – Я приехал на Фраксос, чтобы снять дом. Летний дом. В деревне мне не понравилось. Не люблю жить на северных побережьях. Перед отъездом я нанял лодочника – обогнуть остров. Ради удовольствия. Когда я решил искупаться, он случайно причалил к Муце. Случайно проговорился, что наверху есть старая хижинка. Я случайно поднялся на мыс. Увидел домик: ветхие стены, каменная осыпь под тернистым плющом. Было жарко. Восемнадцатое апреля тысяча девятьсот двадцать восьмого года, четыре часа дня.

Он опять умолк, словно дата заставила его задуматься; готовил меня к новому своему облику, к новому повороту.

– Лес тогда был гуще. Моря не видно. Я стоял на прогалине, вплотную к руинам. Меня сразу охватило чувство, что это место ожидало меня. Ожидало всю мою жизнь. Стоя там, я понял, кто именно ждал, кто терпел. Я сам. И я, и домик, и этот вечер, и мы с вами – все от века пребывало здесь, точно отголоски моего прихода. Будто во сне я приближался к запертой двери, и вдруг по волшебному мановению крепкая древесина обернулась зеркалом, и я увидел в нем самого себя, идущего с той стороны, со стороны будущего. Я пользуюсь метафорами. Вы их понимаете?

Я кивнул, но неохотно, ибо понимал с трудом; ведь во всем, что он говорил и делал, я искал признаки драматургии, отточенный расчет. О приезде в Бурани он рассказывал не как о действительном случае, но в манере, в какой автор сочиняет вставную историю там, где этого требует сюжет пьесы.

– Я сразу решил, что поселюсь тут, – продолжал он. – Я не мог идти дальше. Только здесь, в этой точке, прошлое сливалось с будущим. И я остался. Вот и сегодня я здесь. И вы здесь.

Искоса взглянул на меня сквозь темноту. Я помедлил; похоже, в заключительную фразу он вложил особый смысл.

– Это тоже входит в понятие духовидения?

– Это входит в понятие случайности. В жизни каждого из нас наступает миг поворота. Оказываешься наедине с собой. Не с тем, каким еще станешь. А с тем, каков есть и пребудешь всегда. Вы слишком молоды, чтобы понять это. Вы еще становитесь. А не пребываете.

– Возможно.

– Не «возможно», а точно.

– А если проскочишь этот... миг поворота? – Но мне-то казалось, что в моей жизни такой миг уже был: лесное безмолвие, гудок афинского парохода, черный зев ружейного дула.

– Сольешься с массой. Лишь немногие замечают, что миг настал. И ведут себя соответственно.

– Призванные?

– Призванные. Избранники случая. – Его стул скрипнул. – Посмотрите-ка. Лучат рыбу.

Вдали, у подножья гор, в густой тени, дрожала зыбкая пелена рубиновых огоньков. Я не понял, просто ли он на них указывает или рыбацьи фонарики должны обозначать призванных.

– Вы иногда маните и бросаете, господин Кончис.

– Скоро исправлюсь.

– Надеюсь, что так.

Он еще помолчал.

– Вам не кажется, что мои слова значат для вас больше, чем обычная болтовня?

– Несомненно.

Снова пауза.

– Не нужно вежливости. Вежливость всегда скрывает боязнь взглянуть в лицо иной действительности. Я сейчас скажу нечто, что вас может покоробить. Я знаю о вас такое, чего вы сами не знаете. – Он помедлил, словно, как в прошлый раз, давал мне время подготовиться. – Вы тоже духовидец, Николас. Хоть сами уверены в обратном. Но я-то знаю.

– Да нет же. Правда нет. – Не получив ответа, я продолжал: – Но любопытно послушать, почему вы так считаете.

– Мне открылось.

– Когда?

– Предпочел бы не говорить.

– Как же так? Вы ведь не объяснили, что именно подразумеваете под этим словом. Если просто способность к наитию – тогда, надеюсь, я действительно духовидец. Но, по-моему, вы имели в виду нечто другое.

Снова молчание, будто для того, чтоб я расслышал резкость собственного тона.

– Вы ведете себя так, точно я обвинил вас в преступлении. Или в пороке.

– Простите. Но я ни разу не общался с духами. – И простодушно добавил: – Я вообще атеист.

– Разумный человек и должен быть либо агностиком, либо атеистом, – терпеливо, но твердо сказал он. – И дрожать за свою шкуру. Это необходимые черты развитого интеллекта. Но я говорю не о Боге. Я говорю о науке. – Я промолчал. Его голос стал еще тверже. – Очень хорошо. Я усвоил, что вы... не считаете себя духовидцем.

– Теперь вам ничего не остается, как рассказать то, что обещали.

– Я только хотел предостеречь вас.

– Это вам удалось.

– Подождите минутку.

Он отправился к себе. Поднявшись, я подошел к изгибу перил, откуда открывался широкий обзор. Виллу обступали молчаливые, еле различимые в звездном свете сосны. Полный покой. Высоко в северной части неба гудел самолет – третий или четвертый ночной самолет, который я слышал за все время, проведенное на острове. Я представил себе Алисон, везущую меж пассажирских кресел тележку с напитками. Как и огни далекого парохода, этот слабый гул не уменьшал, а подчеркивал затерянность Бурани. На меня нахлынула тоска по Алисон, ощущение, что я, возможно, потерял ее навсегда; я словно видел ее вблизи, держал ее руку в своей; она дышала живым теплом, утраченным идеалом обыденности. Рядом с ней я всегда чувствовал себя защитником; но той ночью в Бурани подумал, что на деле, наверное, она меня защищала – или защитила бы, коли пришлось.

Тут вернулся Кончис. Подошел к перилам, глубоко вздохнул. Небо, море, звезды – целое полушарие вселенной раскинулось перед нами. Гул самолета стихал. Я закурил – Алисон в такой миг тоже бы закурила.

18

– По-моему, в шезлонгах будет удобнее.

Мы приволокли с дальнего конца террасы летние соломенные кресла. Откинулись, задрав ноги. И сразу я ощутил, как пахнет плетеный подголовник – тем же слабым старомодным запахом, что полотенце и перчатка. Аромат явно не имел отношения ни к Кончису, ни к Марии. Иначе я почувствовал бы его, общаясь с ними. В этом кресле часто сидела какая-то женщина.

– Долго же придется объяснять вам, что я имел в виду. Нужно будет рассказать всю мою жизнь.

– За последние месяцы мне не случалось слышать английскую речь. Разве что лomanую.

– Я по-французски лучше, чем по-английски, говорю. Но к делу. *Comprendre, c'est tout*³⁸.

– «Об одном прошу: занимательней!»

– Чьи это слова?

– Одного английского романиста³⁹.

– Зря он так сказал. В литературе занимательность – пошлость.

Я улыбнулся во тьму. Молчание. Сигнальные огни звезд. Он заговорил.

– Как вы уже знаете, отец мой был англичанин. Но дела его – он ввозил табак и пряности – большей частью протекали в Средиземноморье. Один из его конкурентов, грек по национальности, жил в Лондоне. В тысяча восемьсот девяносто втором году в семье этого грека случилось несчастье. Его старший брат вместе с женой погибли при землетрясении – там, за хребтом, на той стороне Пелопоннеса. Трое детей остались сиротами. Младших, мальчиков, отправили в Южную Америку, к другому брату грека. Старшую, девочку семнадцати лет, доставили в Лондон вести хозяйство в доме дяди, отцовского конкурента. Тот давно уже овдовел. Она была красива той особой красотой, какую сообщает гречанкам примесь итальянской крови. Отец познакомился с ней. Он был гораздо старше, но, насколько я знаю, неплохо сохранился – а кроме того, бегло говорил по-гречески. Деловые интересы обоих торговцев с выгодой совпали. Словом, сыграли свадьбу... и я появился на свет.

Первое мое сознательное воспоминание – голос поющей матери. В горе ли, в радости – она всегда напевала. Неплохо владела классическим репертуаром, играла на фортепьяно, но мне-то лучше запомнились греческие народные напевы. Их она заводила в минуты грусти. Помню, много лет спустя она рассказала мне, как хорошо подняться на дальний холм и смотреть с вершины, как охряная пыль медленно возносится к лазурным небесам. Узнав о смерти родителей, она возненавидела Грецию черной ненавистью. Покинула ее, чтоб никогда не вернуться. Как многие греки. И, как многие, с трудом переносила изгнание. Такова судьба тех, кто рожден в этом краю, прекраснее и жесточе которого нет на земле.

Мать пела – и музыка была в моей жизни, сколько я себя помню, главным. Начинал я как вундеркинд. В первый раз выступил перед публикой в девять лет и принят был весьма благожелательно. Но по другим предметам успевал плохо. Не из-за тупости – по крайней лени. Знал одну лишь обязанность: совершенствоваться в фортепьянной игре. Чувство долга, как правило, немыслимо без того, чтобы принимать скучные вещи с энтузиазмом, а в этом искусстве я так и не преуспел.

К счастью, музыку мне преподавал замечательный человек – Шарль-Виктор Брюно. Он не избежал многих обычных недостатков своего ремесла. Кичился собственной методой, своими учениками. К бездарным относился с убийственным сарказмом, к талантливым – с ангельским

³⁸ Главное – понять смысл (*фр.*).

³⁹ Э. М. Форстера. Эта многозначительная фраза (*Only connect...*) служит эпиграфом к его роману «Усадьба Говарда».

терпением. Но музыкальное образование у него было прекрасное. В те дни это делало его белой вороной. Большинство исполнителей стремились лишь к самовыражению. Выработалась особая манера, с форсированным темпом, с мастеровитым, экспрессивным рубато. Сегодня так уже не играют. Это при всем желании невозможно. Розентали и Годовские ушли навсегда. Но Брюно опережал свою эпоху, и многие сонаты Гайдна и Моцарта я до сих пор воспринимаю лишь в его трактовке.

Но самым удивительным его достижением – подчеркиваю, дело было до Первой мировой – оказалось то, что он одинаково хорошо играл и на фортепьяно, и на клавикордах: истинная редкость для того времени. К началу наших занятий фортепьяно он почти забросил. Техника игры на клавикордах совсем иная. Перестроиться не так легко. Он мечтал основать школу клавикордистов, где этот профиль определялся бы с самых ранних лет. И музыканты не должны были быть, как он выражался, *des pianistes en costume de bal masqué*⁴⁰.

В пятнадцать лет я пережил то, что сейчас назвали бы нервным срывом. Брюно слишком загрузил меня. Детские игры я никогда не жаловал. Из школы сразу домой, а там – музыка до самого вечера. В классе я ни с кем по-настоящему не сдружился. Возможно, потому, что меня считали евреем. Но врач сказал, что, когда я оправлюсь, нужно меньше заниматься и больше гулять. Я скорчил гримасу. Однажды отец принес роскошную книгу о пернатых. До того я не разбирался даже в самых распространенных видах птиц и не чувствовал в том нужды. Но идея отца оказалась удачной. Лежа в постели и разглядывая застывшие картинки, я захотел увидеть живую действительность – для начала ту, что свистала за окном моей спальни. Сначала я полюбил пение птиц, затем их самих. Даже чириканье воробьев вдруг показалось таинственным. А тысячу раз слышанным птичьим трелям, дроздам и скворцам в нашем саду я внимал как впервые. Позже – *ça sera pour un autre jour*⁴¹ – в погоне за птицами мне было суждено одно странное приключение.

Вот каким ребенком я был. Праздным, одиноким, да-да, предельно одиноким. Как это по-английски? Неженкой. Способным к музыке, ни к чему более. Единственное чадо, отрада родителей. По истечении третьего пятилетия жизни стало ясно, что я не оправдаю надежд. Брюно понял это раньше меня. И хотя мы, не сговариваясь, медлили сообщать об этом родителям, я не мог примириться с очевидным. В шестнадцать тяжело сознавать, что гения из тебя не выйдет. Но тут я влюбился.

Я впервые увидел Лилию, когда ей было четырнадцать, а мне – годом больше, вскоре после моего срыва. Мы жили в Сент-Джонс-Вуд. Помните эти белые особнячки преуспевающих торговцев? Полукруглая подъездная аллея. Порттик. На задах, вдоль всего дома – сад с купой престарелых яблонь и груш. Неухоженный, но буйный. Под одной из лип я устроил себе «жилье». Однажды – июнь, кристально ясное небо, знойное, чистое, как здесь, в Греции, – я читал биографию Шопена. Уверен, именно ее. Видите ли, в моем возрасте первые двадцать лет жизни помнятся свежей, чем вторые... или третьи. Читал и, понятно, воображал себя Шопеном; рядом лежала новая книга о птицах. Тысяча девятьсот десятый год.

Внезапно из-за кирпичной стены, что отделяет соседний сад от нашего, слышится шорох. В том доме никто не живет, и я заинтригован. И тут... появляется голова. Пугливо. Как мышка. Голова девочки. Я затаился в своем логове, она меня не вдруг увидит, есть возможность ее разглядеть. Она в солнечном пятне, копна светлых волос закинута за плечи. Солнце клонится к югу, а волосы ловят его свет, преломляют искристым облаком. Склоненное лицо, темные глаза, полуоткрытые любопытные губки. Тихая, робкая, а напускает на себя кураж. Заметила меня. Секунду разглядывает, вся в нестерпимо сияющем ореоле. Насторожилась, как птичка.

⁴⁰ Пианистами в маскарадных костюмах (фр.).

⁴¹ Об этом как-нибудь в другой раз (фр.).

Я выпрямляюсь у входа в шалаш, на свет не выхожу. Ни слов, ни улыбок. В воздухе дрожат немые загадки отрочества. Я почему-то молчу... но тут кто-то позвал ее.

Чары рассеялись. И опыт детства рассеялся вместе с ними. У Сефериса есть строчка... кажется: «И полон звезд разломленный гранат». Это сюда подходит. Она скрылась, я снова уселся, но читать не смог. Подкрался к стене, поближе к соседскому дому – изнутри доносились мужской голос и серебристые женские.

Я был нездоров. Но эта встреча, этот таинственный... ну, что ли, знак ее сияния, ее сияния – моему сумраку, преследовал меня несколько недель.

Их семейство поселилось по соседству. Я познакомился с Лилией. Между нами было что-то общее. Это не просто моя фантазия; в ней, как и во мне, заключалось нечто – связующая пуповина, о которой мы, конечно, не смели заговаривать, но чувствовали ее оба.

И судьбы у нас были схожи. У нее также не было в этом городе друзей. И последнее, вовсе уж волшебное совпадение: у нее тоже имелись музыкальные способности. Скромные, но имелись. Отец ее, чудаковатый состоятельный ирландец, обожал музицировать. Отлично играл на флейте. Конечно, он скоро сдружился с Брюно, который часто у нас появлялся, и Брюно свел его с Долмечем⁴² – тот увлекался рекордером. Еще один забытый инструмент. Помню, как Лилия исполняла свое первое соло на монотонном, писклявом рекордере, что смастерил Долмеч, а ее отец приобрел.

Наши семьи очень сблизилась. То я аккомпанировал Лилии, то мы играли дуэтом, то отец ее присоединялся к нам, то наши мамы пели на два голоса. В музыке перед нами открылись непознанные территории. «Вирджинальная книга Фицвильяма»⁴³, Арбо, Фрескобальди, Фробергер – в те годы неожиданно выяснилось, что музыку сочиняли и до начала восемнадцатого века.

...Он умолк. Мне хотелось закурить, но я боялся сбить его, отвлечь от воспоминаний. Сжав в пальцах сигарету, я ждал продолжения.

– Такие лица, как у нее... да, они смотрят на нас с полотен Боттичелли: длинные светлые локоны, серо-синие глаза. Но в моем описании она выглядит жидковато, как модель прерафаэлитов. В ней было нечто настоящее, женское. Мягкость без слезливости, открытость без наивности. Так хотелось говорить ей колкости, подначивать. Но ее колкости напоминали ласку. У меня она вышла слишком бесцветной. Понятно, в те времена юношей привлекало не тело, а дух. Лилия была очень красива. Но именно душа ее была *sans pareil*⁴⁴.

Никаких преград, кроме имущественных, не лежало меж нами. Я только что сказал, что наши склонности и вкусы совпадали. Но характерами мы были противоположны. Лилия всегда подчеркнута сдержанна, терпелива, отзывчива. Я – вспыльчив. Нравен. Очень самолюбив. Не помню, чтобы она кого-либо обидела. А под мою горячую руку лучше было не попадаться. В ее присутствии я презирал себя. Вообразил, что греческая кровь – плебейская. Чуть ли не как негритянская.

И потом, вскоре меня охватило телесное желание. А она любила меня – или делала вид, что любит – по-сестрински. Конечно, мы собирались пожениться, дали обет, когда ей исполнилось шестнадцать. Но даже поцелуй редко удавалось сорвать. Вы не представляете, что это такое. Встречаться с девушкой ежедневно и ежедневно смирять свою нежность. Желания мои были невинны. Я разделял всеобщее в ту эпоху уважение к девственности. Но англичанин-то я только наполовину.

⁴² Арнольд Долмеч (1858–1940) – композитор, исполнитель, педагог, музыкальных дел мастер, автор основополагающей работы «Трактовка музыкальных произведений XVII–XVIII вв.» (1915).

⁴³ Антология произведений для клавишных, составленная Ф. Тригъеном в начале XVII в.

⁴⁴ Несравненной (*фр.*).

«О папус», мой дед – а на самом деле дядя матери – натурализовался в Англии, но его любовь к английскому никогда не достигала пуританского, да и попросту благопристойного уровня. Я не назвал бы его старым развратником. Собственные фантазии принесли мне гораздо больше нравственного вреда, чем то, что рассказывал он. Мы говорили только по-гречески, а вы уже успели понять, что в природе этого языка заложены чувственность и прямота. Я украдкой таскал книги из его библиотеки. Прочитал «Парижскую жизнь». А однажды нашел целую папку раскрашенных гравюр. Меня стали преследовать стыдные видения. Робкая Лилия в соломенной шляпке, в шляпке, которую я и сейчас могу описать так подробно, будто вижу перед собой (тюлевый бант, светлый, как летнее марево), в бело-розовой полосатой кофточке с длинными рукавами и высоким воротом, в узкой синей юбке, Лилия, что гуляет со мной в Риджентс-парке весной тысяча девятьсот четырнадцатого года. Восторженная девочка, что стоит рядом на галерее «Ковент-Гарден», чуть живая от июньской жары – лето выдалось знойное, – и слушает Шаляпина в «Князе Игоре»... Лилия... По ночам она являлась мне в образе маленькой шлюшки. Эта другая Лилия так не походила на настоящую, что мутился рассудок. И я опять пенял на свою греческую кровь. Но заглушить ее зов был не в силах. Вновь и вновь проклинал свое происхождение, а мать, бедняжка, от этого страдала. Родственники отца и так относились к ней свысока, а тут еще собственный сын туда же.

Тогда я стыдился. А теперь горжусь, что в моих жилах текут греческая, итальянская, английская кровь и даже капелька кельтской. Бабка отца была шотландкой. Я европеец. Остальное не имеет значения. Но в четырнадцатом году я жаждал быть стопроцентным англичанином, который не запятнал бы наследственности Лилии.

Как вам известно, на заре века над юной Европой клубились фантомы пострашнее моих мальчишеских любовных грез. Когда началась война, мне было всего восемнадцать. Ее первые дни прошли в каком-то угаре. Слишком долго тянулись мир и довольство. Похоже, на уровне коллективного бессознательного всем хотелось перемен, свежего ветра. Искупления. Но для нас, далеких от политики граждан, война поначалу была суверенным уделом генералов. Регулярная армия и непобедимый флот его величества сами управятся. Мобилизацию не объявляли, а идти добровольцем не ощущалось необходимости. Мне и в голову не приходило, что я могу очутиться на поле боя. Мольтке, Бюлов, Фош, Хейг, Френч – эти имена мне ничего не говорили. Но тут пронесся смутный слух о *coup d'archet*⁴⁵ под Монсом и Ле Като. Это стало абсолютной неожиданностью. Немецкая выучка, грозные прусские гвардейцы, головорезы бельгийцы, скорбные списки потерь в газетах. Китченер. «Миллионная армия». А в сентябре – битва на Марне; то были уже не шутки. Восемьсот тысяч – представьте, что вся бухта выслана их трупами, – восемьсот тысяч свечей, задутых единым дуновением колосса.

Настал декабрь. Исчезли модницы и щеголи. Раз вечером отец сказал, что они с матерью не осудят меня, если я не пойду воевать. Я поступил в Королевский музыкальный колледж, а там добровольцев сперва не жаловали. Война не должна мешать искусствам. Помню разговор о войне наших с Лилией родителей. Пришли к выводу, что она бесчеловечна. Но отец обращался со мной все суше. Он вступил в народную дружину, стал членом местного чрезвычайного комитета. Потом на фронте убили сына главного администратора его фирмы. Нам с матерью отец сообщил об этом внезапно, за обедом, и сразу ушел из-за стола. Все было ясно без слов. Вскоре на прогулке нам с Лилией преградила дорогу колонна солдат. Только что кончился дождь, тротуар блестел. Они отправлялись во Францию, и какой-то прохожий обронил: «Добровольцы». Они пели; я смотрел на их лица в желтом свете газовых фонарей. Со всех сторон – восторженные возгласы. Сырой запах саржи. И те, кто шел, и те, кто смотрел на них, были опьянены, непомерно взволнованы, решимость зияла в овалах губ. Средневековая

⁴⁵ Здесь: сокрушительном поражении (фр.).

решимость. В ту пору я не слышал этого крылатого выражения. Но то было *le consentement frémissant à la guerre*⁴⁶.

Они не в себе, сказал я Лилии. Та, казалось, не слышала. Но когда они прошли, повернулась ко мне и произнесла: я бы тоже была не в себе, если б завтра меня ждала смерть. Ее слова ошеломили меня. Возвращались мы молча. И всю дорогу она напевала, скажу без иронии (а тогда я этого не понимал!), гимн той эпохи.

...Помолчав, он затыкнул:

Погорюем, приголубим,
Но проводим на войну.

Рядом с ней я почувствовал себя щенком. Снова проклял свою злополучную греческую кровь. Не только развратником делала она меня, еще и трусом. Теперь, оглядываясь назад, вижу: действительно делала. У меня был не столько сознательно, расчетливо трусливый, сколько слишком наивный, слишком греческий характер, чтобы проявить себя истинным воином. Грекам искони присуще социальное легкомыслие.

У ворот Лилия чмокнула меня в щеку и убежала домой. Я все понял. Она уже не могла простить меня; только пожалеть. Ночь, день и следующую ночь я мучительно размышлял. Наутро явился к Лилии и сказал, что иду добровольцем. Вся кровь отлила от ее щек. Потом она разрыдалась и бросилась в мои объятия. Так же поступила при этом известии мать. Но ее скорбь была глубже.

Я прошел комиссию, меня признали годным. Все считали меня героем. Отец Лилии подарил старый пистолет. Мой – откупорил бутылку шампанского. А потом, у себя в комнате, я сел на кровать с пистолетом в руках и заплакал. Не от страха – от благородства собственных поступков. До сих пор я и не представлял, как приятно служить обществу. Теперь-то я усмирил свою греческую половину. Стал наконец настоящим англичанином.

Меня зачислили в тринадцатый стрелковый – Кенсингтонский полк принцессы Луизы. Там моя личность раздвоилась: одна ее часть сознавала происходящее, другая пыталась избавиться от того, что сознавала первая. Нас готовили не столько к тому, чтобы убивать, сколько к тому, чтобы быть убитыми. Учили двигаться короткими перебежками – в направлении стволов, что выплевывали сто пятьдесят пуль в минуту. В Германии и во Франции творилось то же самое. Если б мы всерьез полагали, что нас пошлют в бой, – может, и возроптали бы. Но, по общепринятой легенде, добровольцев использовали только в конвое и на посылках. В сражениях участвовали регулярные войска и резерв. И потом, нам каждую неделю повторяли, что война стоит слишком дорого и закончится самое большее через месяц.

...Он переменял позу и умолк. Я ждал продолжения. Но он не говорил ни слова. Мерцающее сияние прозрачных звездных туч дрожало на подмостках террасы.

– Хотите бренди?

– Надеюсь, это еще не конец?

– Давайте-ка выпьем бренди.

Встал, зажег свечу. Растворился во тьме.

Лежа в шезлонге, я смотрел в небо. Мириады лет отделяли 1953 год от 1914-го; четырнадцатый длился теперь на одной из планет, что обращались вокруг самых дальних, самых тусклых звезд. Пустой прогал, временной скачок.

И тут я снова услышал шаги. На сей раз – приближающиеся. Та же стремительная поступь. Для пробежек было жарковато. Кто-то хотел скрыться в доме, войти незамеченным. Я бросился к перилам.

⁴⁶ Зыбкое единодушие войны (*фр.*).

И успел заметить у дальнего края фасада светлую фигуру, что поднялась по лестнице и растворилась во мраке колоннады. Видел я плохо: после долгого пребывания в темноте пламя свечи ослепило меня. Но то была не Мария; белизна, скользкая белизна; халат? ночная рубашка? – и мгновения оказалось достаточно, чтобы понять: это женщина, и женщина молодая. Возникало подозрение, что мне дали увидеть ее не случайно. Ведь если хочешь приблизиться бесшумно, не станешь ступать по гравию, а обогнешь дом с тыла, подальше от террасы.

Из спальни раздался шорох, и в дверях, освещенный лампой, появился Кончис с бутылкой и бокалами на подносе. Я выждал, пока он донесет его до стола.

– Знаете, только что кто-то вошел в дом.

Ни малейшего удивления на лице. Он откупорил бутылку и бережно разлил бренди по бокалам.

– Мужчина или женщина?

– Женщина.

– Вот как. – Протянул бокал. – Его делают в критском монастыре Аркадион. – Задул свечу, вернулся к шезлонгу. Я все стоял у стола.

– А вы говорили, что живете один.

– Я говорил, что хочу произвести такое впечатление в деревне.

Сухость его тона развеяла мои наивные домыслы. Эта женщина – всего лишь любовница, которую он почему-то не желает со мной знакомить; а может, она сама не желает знакомиться. И я улегся в шезлонг.

– Не слишком учтиво с моей стороны. Извините.

– Не в учтивости дело. Быть может, вам просто не хватает воображения.

– Мне показалось, что мне специально подсунули то, что видеть не полагается.

– Видеть или не видеть – от вас не зависит, Николас. А вот как истолковать увиденное – зависит.

– Понимаю.

– Всему свое время.

– Простите.

– Нравится вам бренди?

– Очень.

– Когда пью его, вспоминаю арманьяк. Что ж. Продолжим?

Он снова заговорил. Я вдыхал воздух ночи, чувствовал подошвой твердость цемента, перекачивал в кармане мелок. Но стоило задрать ноги и откинуться, как я ощутил: что-то настойчиво пытается заслонить от меня реальность.

19

– Через полтора месяца после того, как меня зачислили в строй, я очутился во Франции. С винтовкой обращаться я не умел. Даже штык в чучело кайзера Вилли вонзал как-то нерешительно. Но меня сочли «бойким» и подметили, что я неплохо бегаю. Так что я был определен в ротные скороходы, а значит, и на должность... забыл слово...

– Вестового?

– Верно. Учебной ротой командовал кадровый офицер лет тридцати. Звали его капитан Монтегю. Он только что оправился от перелома ноги и приступил к строевой службе. Весь его облик лучился какой-то нежной грацией. Аккуратные, нарядные усики. Один из глупейших людей, каких я встречал на своем веку. Я многое вынес из общения с ним.

В самый разгар нашей подготовки он получил срочное назначение во Францию. И сразу сообщил мне – с видом, будто преподнес дорогой подарок, – что в силах нажать на все кнопки и устроить так, чтоб я отправился с ним. Только тупица вроде него мог не заметить, что энергия моя – дутая. К несчастью, он успел проникнуться ко мне симпатией.

В голове его помещалась лишь одна мысль зараз. В тот момент это была идея *offensive à outrance* – стремительной атаки. Великое научное открытие Фоша. «Удар силен массой, – говаривал Монтегю, – масса сильна порывом, порыв силен моралью. Мощная мораль, мощный порыв, мощный удар – победа!» Кулаком по столу – «Победа!». Заставлял нас учить все это наизусть. На штыковых. По-бе-да! Дурак несчастный.

Перед отъездом я провел два дня с родителями и Лилией. Мы с ней поклялись друг другу в вечной любви. Она заразилась обаянием жертвенного героизма, как заразился им мой отец. Мать молчала, только вспомнила греческую пословицу: мертвый храбрым не бывает. Позже я часто повторял ее про себя.

Мы угодили сразу на фронт. Какой-то командир роты умер от воспаления легких, и Монтегю стал его преемником. Начиналась весна тысяча девятьсот пятнадцатого года. Шел обложной дождь со снегом. Мы томились в поездах, что простаивали на боковых ветках, в тусклых городах под еще более тусклым небом. Тех, кто побывал на фронте, вы отличали с первого взгляда. Новобранцы, которые с песнями шли навстречу гибели, были заморочены военной романтикой. Но остальные – военной действительностью, властительной пляской смерти. Будто унылые старики, какие торчат в любом казино, они знали, что в конце концов проигрыш обеспечен. Но не решались выйти из игры.

Несколько дней рота моталась по тылам. Но вот Монтегю обратился к нам с речью. Нам предстоял бой, не такой, как другие, победный. Через месяц он позволит нам вступить в Берлин. Назавтра вечером мы погрузились. Поезд остановился посреди ровного поля; мы построились и зашагали на восток. Сумеречные гати и ветлы. Бесперывная морось. По колоннам разнесся слух, что мы будем штурмовать деревню, которая называется Нефшапель. И что немцы применяют какое-то устрашающее оружие. Огромную пушку. Массовый налет аэропланов новой модели.

Через некоторое время свернули на слякотный луг и остановились у крестьянских построек. Двухчасовой отдых перед тем, как занять рубеж атаки. Никто не сомкнул глаз.

Было холодно, разводить огонь запрещалось. Мое «я» дало о себе знать: я начинал бояться. Но твердил себе, что должен упредить миг, когда по-настоящему струшу. Чтобы вырвать страх с корнем. Так развращает война. Свободу воли затмевает гордыней.

Пока не рассвело, мы с частыми остановками ползли вперед, на исходные. Я подслушал разговор Монтегю со штабным офицером. В операции участвовали все силы Первой армии, армии Хейга, при поддержке Второй. Сознание своей принадлежности к таким полчищам приглушало опасность, согревало. Но тут мы достигли окопов. Кошмарных окопов, что смердели

мочой. Рядом упали первые снаряды. Я был столь простодушен, что, несмотря на так называемую подготовку, на пропагандистские лозунги, так и не мог до конца поверить, что кому-то хочется убить меня. Скомандовали остановиться и укрыться за брустверами. Снаряды свистали, выли, рвались. Потом, после паузы, шлепались вниз комья земли. Дрожа, я очнулся от спячки.

Кажется, первое, что я понял, – что каждый существует сам по себе. Разобщает не война. Она, наоборот, как известно, сплачивает. Но поле боя – совсем иное дело. Ибо здесь перед тобой появляется истинный враг – смерть. Полчища солдат больше не согревали. В них воплотился Танатос, моя погибель. Не только в далеких немцах, но и в моих товарищах, и в Монтегю.

Это безумие, Николас. Тысячи англичан, шотландцев, индийцев, французов, немцев мартовским утром стоят в глубоких канавах – для чего? Вот каков ад, если он существует. Не огонь, не вилы. Но край, где нет места рассудку, как не было ему места тогда под Нефшапелю.

На востоке вяло забрезжила заря. Дождь прекратился. Нестройная трель откуда-то сверху. Я узнал голос завирушки, последний привет мира живых. Мы продвинулись еще вперед, до рубежа атаки – наша стрелковая бригада обеспечивала второй эшелон наступления. До немецких позиций оставалось меньше двухсот ярдов, ширина нейтральной полосы составляла всего сотню. Монтегю взглянул на часы. Поднял руку. Воцарилась мертвая тишина. Опустил. Секунд десять ничего не происходило. Потом далеко позади раздался гулкий барабанный бой, рокот тысяч тимпанов. Пауза. И – ландшафт перед нашими глазами разлетелся в клочья. Мы скорчились на дне траншеи. Земля, небо, душа – все ходило ходуном. Вы не представляете, что это такое – начало артподготовки. То был первый за время войны массированный обстрел, крупнейший в истории.

По ходу сообщения с переднего рубежа пробрался вестовой. Лицо и форма – в красных потеках. Монтегю спросил, не ранен ли он. В передних окопах все забрызганы кровью из немецких траншей, был ответ. Они слишком близко. О, если бы забыть, до чего близко.

Через полчаса огонь перенесли на деревню. Монтегю крикнул от зрительной трубы: «Им конец!» А затем: «Боши бегут!» Вспрыгнул наверх, помахал, чтобы мы выглянули за бруствер. В сотне ярдов цепочка людей семенила по взрытому полю к измочаленной роще и развалинам домов. Одиночные выстрелы. Кто-то упал. Потом поднялся и продолжал бег. Он просто споткнулся. Когда цепь достигла деревни, вокруг закричали; азарт снова охватил нас. Багровое зарево все выше ползло по небосклону, пришла наша очередь наступать. Идти было трудно. По мере продвижения страх сменялся ужасом. В нас не стреляли. Но под ногами кишело нечто непотребное. Бесформенные клочья, розовые, белые, красные, в брызгах грязи, в лоскутках серой и защитной материи. Мы форсировали собственный передний рубеж и вступили на нейтральную полосу. В немецких окопах никого не осталось. Все или засыпаны землей, или разорваны снарядами. Там удалось минуту-другую передохнуть; мы забились в воронки, почти с комфортом. На севере разгоралась перестрелка. Камерунцы уперлись в проволочные заграждения. Через двадцать минут в их полку остался лишь один офицер. Четыре пятых личного состава были убиты.

Впереди меж развалин показались силуэты с поднятыми руками. Некоторых поддерживали товарищи. Первые пленные. Лица многих из них выжелтила пикриновая кислота. Желтокожие выходцы из полога белого света. Один шел прямо на меня, шатаясь, трясая головой, как во сне, и вдруг свалился в глубокую воронку. Через секунду вылез оттуда на четвереньках, медленно выпрямился. Снова побрел. Иные пленники плакали. Кого-то вырвало кровью, и он замер у наших ног.

А мы стремились к деревне. Очутились на месте, которое некогда было улицей. Разгром. Булыжники, куски штукатурки, сломанные стропила, желтые потеки кислоты. Опять пошел дождь, сырой щебень блестел. Блестела кожа мертвецов. Многие немцы погибли прямо в домах. За десять минут передо мной прошли все мясницкие прелести войны. Кровь, зияю-

щие раны, плоть, разорванная обломками костей, зловоние вывернутых кишок – описываю все это потому лишь, что мои ощущения, ощущения мальчишки, который до сих пор не видел даже мирно умерших в своей постели, были весьма неожиданны. Не страх, не тошнота. Я видел, кого-то рвало. Но не меня. Меня вдруг охватила твердая уверенность: происходящему не может быть оправдания. Пусть Англия станет прусской колонией, это в тысячу раз лучше. Пишут, что подобные сцены пробуждают в новобранце дикую жажду мщения. Со мной случилось наоборот. Я безумно захотел выжить.

...Он встал.

– Я приготовил вам испытание.

– Испытание?

Он ушел в спальню и сразу вернулся с керосиновой лампой, стоявшей на столе во время ужина. Выложил в белый круг света то, что принес с собой. Игральная кость, стаканчик, блюдце, картонная коробочка. Я посмотрел на него через стол; глаза его были серьезные.

– Собираюсь объяснить вам, зачем мы отправлялись на войну. Почему человечество без нее не может. Это материя не социальная и не политическая. Не государства воюют, а люди. Будто зарабатывают право на соль. Тот, кто вернулся, обеспечен солью до конца дней своих. Понимаете, что я хочу сказать?

– Конечно⁴⁷.

– Так вот, в моей идеальной республике все было бы проще простого. По достижении двадцати одного года каждый юноша подвергается испытанию. Он должен явиться в больницу и бросить кость. Одна из шести цифр означает смерть. Если выпадет эта цифра, его безболезненно умертвят. Без причитаний. Без зверств. Без устранения невинных свидетелей. Лишь амбулаторный бросок кости.

– По сравнению с войной явный прогресс.

– Вы так думаете?

– Несомненно.

– Уверены?

– Если б такое было возможно!

– Вы говорили, что на войне ни разу не побывали в деле?

– Ни разу.

Он вытряс из коробочки шесть коренных зубов, пожелтевших, со следами пломб.

– Во время Второй мировой их вставляли разведчикам, как нашим, так и вражеским, на случай провала.

Положил один зуб на блюдце, расплющил стаканчиком; оболочка оказалась хрупкой, как у шоколадки с ликером. Но пахла бесцветная жидкость едко и пугающе, пахла горьким миндалем. Он поспешно отнес блюдце в глубь террасы; вновь склонился к столу.

– Пилюли с ядом?

– Именно. Синильная кислота.

Поднял кость и показал мне все шесть граней.

Я улыбнулся:

– Хотите, чтоб я бросил?

– Предлагаю пережить целую войну за единый миг.

– А если я откажусь?

– Подумайте. Минутой позже вы сможете сказать: я рисковал жизнью. Я играл со смертью и выиграл. Удивительное чувство. Коли уцелеешь.

– Труп мой не доставит вам лишних хлопот? – Я все еще улыбался, но уже не так широко.

⁴⁷ Скорее всего, Кончис имеет в виду тот факт, что военная пенсия римским легионерам выплачивалась пайками дефицитной соли.

– Никаких. Я легко докажу, что это самоубийство.

Его взгляд пронизал меня, словно острога – рыбину.

Будь он кем-то другим, я не сомневался бы, что со мной блефуют; но то был именно он, и помимо воли меня охватила паника.

– Русская рулетка.

– Нет, верней. Они убивают за несколько секунд.

– Я не хочу.

– Значит, вы трус, мой друг. – Не спуская с меня глаз, откинулся назад.

– Мне казалось, храбрецов вы считаете болванами.

– Потому что они упорно бросают кость еще и еще. Но молодой человек, который не в состоянии рискнуть единожды, – болван и трус одновременно.

– Моим предшественникам вы тоже это предлагали?

– Джон Леверье не был ни болваном, ни трусом. Даже Митфорд избежал этого второго недостатка.

И я сломался. Бред, но как уронить достоинство? Я потянулся к стаканчику.

– Подождите. – Наклонившись, он схватил меня за руку, потом пододвинул ко мне один из зубов. – Я за пшик не играю. Поклянитесь, что, если выпадет шестерка, вы разгрызете пилюлю. – Ни тени иронии на лице. Мне захотелось сглотнуть.

– Клянусь.

– Всем самым святым.

Я помедлил, пожал плечами и произнес:

– Всем самым святым.

Он протянул мне кость, я положил ее в стаканчик. Быстро потряхнул, кинул кость. Та пока- тилась по скатерти, ударилась о медное основание лампы, отскочила, покачалась, легла.

Шестерка.

Не шевелясь, Кончис наблюдал за мной. Я сразу понял, что никогда, никогда не разгрызу пилюлю. Я боялся поднять глаза. Прошло, наверное, секунд пятнадцать. Я улыбнулся, посмотрел на него и покачал головой.

Он опять протянул руку, не отрывая глаз, взял со стола зуб, положил в рот, надкусил, проглотил жидкость. Я покраснел. Глядя на меня, протянул руку, положил кость в стаканчик, бросил. Шестерка. Снова бросил. И снова шестерка. Он выплюнул оболочку зуба.

– Вы сейчас приняли то решение, которое принял я сорок лет назад, в то утро в Нефша- пели. Вы поступили так, как поступил бы всякий разумный человек. Поздравляю.

– А что вы говорили об идеальной республике?

– Все идеальные республики – идеальная ахинея. Стремление рисковать – последний серьезный изъян рода людского. Выходим из тьмы, во тьму возвращаемся. Для чего же и жить во тьме?

– Но в этой кости свинец.

– Патриотизм, пропаганда, служебный долг, *esprit de corps*⁴⁸ – что это, если не кости шулера? Есть лишь одна маленькая разница, Николас. За тем столом они, – он сложил в коро- бочку оставшиеся зубы, – настоящие. Не просто миндальный сироп в цветной пластмассе.

– А те двое – как они себя вели?

Он улыбнулся:

– У общества есть еще один способ свести случайность к нулю, лишить своих рабов сво- боды выбора: убедить их, что прошлое выше настоящего. Джон Леверье католик. И он мудрее вас. Он даже попробовать отказался.

– А Митфорд?

⁴⁸ Честь мундира (*фр.*).

– Я не трачу время на то, чтобы проповедовать глухим.

Он строго посмотрел мне в глаза, будто следя, усвоил ли я эту косвенную похвалу; а затем, словно для того, чтоб положить ей предел, прикрутил фитиль лампы. Темнота в буквальном и переносном смысле окутала меня. Слабая надежда, что я для него всего лишь гость, окончательно развеялась. Он явно устраивал все это не в первый раз. Ужасы Нефшапели он описал вполне убедительно, но, когда я понял, что прежде о них уже выслушали другие, вся его история показалась придуманной. Документальный эффект сводился к технике сказа, отточенной множеством повторений. Как если бы вам всерьез навязывали обновку, намекая при этом, что она – с чужого плеча; какая-то профанация всякой логики. Нельзя доверять очевидному... но зачем ему это, зачем?

Тем временем он продолжал плести паутину; и снова я влетел прямо в раскинутую сеть.

20

– До самого вечера мы выжидали. Немцы изредка посылали в нашу сторону снаряд-другой. Артобстрел вышиб из них всю решимость. Естественно было бы немедленно атаковать их. Но для естественных решений требуется выдающийся полководец, Наполеон какой-нибудь.

В три часа нас прикрыл с фланга непальский полк; задача была – взять высоту Обер. Мы должны были атаковать первыми. В половине четвертого примкнули штыки. Я, как обычно, не отходил от капитана Монтегю. Тот просто упивался собственным бесстрашием. Вот кто проглотил бы яд не задумываясь. Он все озирает своих подчиненных. Пренебрегая трубой, высывался из-за бруствера. Немцы, казалось, еще не оправились.

Мы двинулись вперед. Монтегю и старшина покрикивали, требуя держать строй. Нужно было пересечь изрытую воронками пашню и выйти к шпалере тополей; потом, миновав еще одно неширокое поле, мы достигнем цели. Где-то на полпути мы перешли на рысцу; кое-кто закричал. Немцы, похоже, вовсе прекратили стрельбу. Монтегю ликуяще завопил: «Вперед, ребята! Побе-еда!»

То были его последние слова. Мы попали в ловушку. Пять или шесть пулеметов скосили нас, как траву. Монтегю крутанулся на месте и рухнул мне под ноги. Он лежал навзничь, уставясь на меня одним глазом – второй вышибла пуля. Я скрючился возле. Воздух был напоен свинцом. Я вжимался в грязь, по ногам текла моча. Вот-вот я распрощаюсь с жизнью. Кто-то повалился рядом с нами. Старшина. Немногие из наших наугад отстреливались. По инерции. Старшина, не знаю уж зачем, принялся оттаскивать труп Монтегю. Я кое-как пособлял. Мы съехали по склону небольшой воронки. Затылок Монтегю был снесен начисто, но на губах еще играла идиотская ухмылка, словно он заливисто хохотал во сне. Никогда не забуду это лицо. Прощальная гримаса первобытного периода.

Огонь стих. И тут, как стадо испуганных овец, уцелевшие устремились обратно в деревню. И я с ними. Я утратил даже способность трусить. Многих настигла пуля в спину, но я оказался среди тех, кто добрался до исходного рубежа целехоньким – больше того, живым. В этот момент начался артобстрел. С нашей стороны. Из-за плохих погодных условий орудия били как попало. А может, выполняли давно разработанный план. Подобная неразбериха на войне не исключение. Правило.

Командование полком принял подстреленный лейтенант. Он съехался рядом со мной, через всю его щеку шла рваная рана. Глаза горели иступлением. Сейчас это был не милый и прямой английский юноша, а зверь эпохи неолита. Прижатый к стене, нерассуждающий, охваченный тупой яростью. Все мы, наверное, недалеко от него ушли. Чем дольше ты не умирал, тем меньше верилось в происходящее.

Подтягивались резервы, возник какой-то полковник. Высота Обер должна быть взята. Мы пойдем на штурм с наступлением темноты. Но до того момента у меня оставалось время поразмыслить.

Я понимал: эта катастрофа – расплата за тяжкий грех нашего сообщества, за чудовищный обман. Я был слишком мало знаком с историей и естествознанием, чтобы догадаться, в чем этот обман заключается. Теперь я знаю: в нашей уверенности, что мы завершаем некий ряд, выполняем некую миссию. Что все кончится хорошо, ибо нами движет верховный промысел. А не действительность. Нет никакого промысла. Все сущее случайно. И никто не спасет нас, кроме нас самих.

...Он умолк; я еле различал его лицо, обращенное к морю, будто там лежала Нефшатель во всей своей красе – пекло, черная грязь.

– Мы вновь пошли на штурм. Я бы предпочел игнорировать приказ и остаться в окопе. Но трусы, естественно, приравнивались к дезертирам и расстреливались на месте. И я пови-

новался, выбрался из траншеи вслед за остальными. «Бегом!» – крикнул старшина. Утренняя история повторилась. Немцы чуть-чуть постреливали – чтобы не отпугнуть. Но я знал, что полдюжины глаз следят за нами сквозь прицелы пулеметов. Оставалось надеяться лишь на немецкий национальный характер. Со свойственной им пунктуальностью они не откроют стрельбу раньше, чем мы подойдем на то же расстояние, что в прошлый раз.

Оставалось пятьдесят ярдов. Пули на излете засвистели у самого уха. Я собрался с силами, бросил винтовку, пошатнулся. Передо мной зияла старая глубокая воронка. Я оступился, упал и покатился по откосу. «Держитесь!» – закричали впереди. Ноги мои окунулись в воду; я затаился. Через несколько мгновений, как я и рассчитывал, смерть сорвалась с цепи. Кто-то прыгнул в воронку с противоположного края. Видно, то был католик, ибо он бормотал «Аве Мария». Снова возня, оползень грязи, и он был таков. Я вытащил ноги из воды. Но глаз не открывал, пока не прекратилась стрельба.

Я увидел, что не один в воронке. Из воды высывалась серая грудa. Тело немца, давно убитого, изгрызенного крысами. Живот был взрезан, точно у женщины, из которой вынули мертвое дитя. И пах он... можете себе представить, как он пах.

Я провел в воронке всю ночь. Притерпелся к миазмам. Похолодало, и мне показалось, что я схватил лихорадку. Но заставил себя не двигаться, пока не кончится бой. Мне не было стыдно. Я даже уповал на то, что немцы пойдут в наступление и я смогу сдаться в плен.

Лихорадка. Но за лихорадку я принимал тление бытия, жажду существования. Теперь я понимаю это. Горячка жизни. Я себя не оправдываю. Любая горячка противоречит общественным устоям, и ее надо рассматривать с точки зрения медицины, а не философии. Но в ту ночь ко мне с поразительной ясностью вернулись многие давние переживания. И эти простейшие, обыденные радости – стакан воды, запах жареного бекона – затмевали (или, во всяком случае, уравнивали) впечатления от высокого искусства, изысканной музыки, сокровеннейших свиданий с Лилией. Великие немецкие и французские любомудры XX века уверили нас, что внешний мир враждебен личности, но я чувствовал нечто противоположное. Для меня внешнее было упоительно. Даже труп, даже крысиный визг. Возможность ощущать – пусть ты ощущал лишь холод, голод и тошноту – была чудом. Представьте, что в один прекрасный день у вас открывается шестое, до сих пор не познанное чувство, нечто, что выходит из ряда осязания, зрения – привычных пяти. Но оно важнее других, из него-то и рождаются другие. Глагол «существовать» теперь не пассивен и описателен, но активен... почти повелителен.

Еще до рассвета я понял: со мной произошло то, что верующий назвал бы обращением. Во всяком случае, сияние рая я узрел – немцы то и дело запускали осветительные снаряды. Но Бога так и не обнаружил. Лишь осознал, что за ночь прожил целую жизнь.

...Он помолчал. Мне захотелось, чтоб какой-нибудь друг, пусть даже Алисон, скрасил бы, помог мне вынести дыхание тьмы, звезды, террасу, звук голоса. Но тогда и последние месяцы он должен был со мной разделить. Жажда существования; я простил себе нерешимость умереть.

– Я пытаюсь передать, что со мной случилось, каким я был. А не каким должен был быть. Не о том я вам толкую, надо становиться пацифистом или не надо. Имейте это в виду.

На исходе ночи опять заговорили немецкие орудия. Едва рассвело, немцы бросились в атаку – их генералы допустили тот же промах, что наши днем раньше. Потери их были даже серьезнее. Цепь миновала мою воронку и продвинулась к нашим окопам, но ее почти сразу отбросили. Я догадывался о происходящем по гулу боя. И по тяжести немецкого солдата. Он уперся ногой мне в плечо, чтобы вернее прицелиться. Снова стемнело. С юга доносилась перестрелка, но на нашем участке настало затишье. Бой кончился. Мы потеряли около тринадцати тысяч убитыми. Тринадцать тысяч душ, воспоминаний, любовей, чувств, миров, вселенных – ибо душа человека имеет больше прав называться вселенной, чем собственно мироздание, – отданы за сотню-другую ярдов бесполезной грязи.

В полночь я стал отползать к деревне. Меня легко мог подстрелить какой-нибудь перепуганный часовой. Но меня окружали лишь трупы, я влачился по смертной пустоши. Спрыгнул в окоп. И тут – ничего, кроме тишины и мертвецов. Наконец я услышал впереди английскую речь и крикнул: «Подождите!» То был санитарный отряд, что совершал заключительный рейд, чтобы убедиться, что на поле боя не забыли живых. Я объяснил, что меня контузило взрывом.

Никто не усомнился. В те дни и не такое творилось. Мне рассказали, что осталось от моего батальона. Я не представлял, что делать дальше, только по-детски хотелось домой. Но, по испанской пословице, плавать всего быстрее учится утопающий. Я понимал, что считаюсь убитым. И если убегу, никто не бросится вдогонку. Рассвет застал меня в десяти милях от передовой. У меня было немного денег, а по-французски в нашей семье говорили свободно. Днем я укрылся у крестьян, которые меня накормили. А ночью отправился дальше на запад, по полям Артуа к Булони.

Я достиг ее после недели скитаний, повторив маршрут беженцев конца XVII века. Город кишел солдатами и военной полицией, так что я совсем пал духом. Без документов сесть на корабль было, конечно, невозможно. Я все собирался взойти на палубу и солгать, что меня обокрали... но не хватило наглости. Наконец судьба сжалась надо мной. Мне подвернулась возможность самому заняться воровством. Я познакомился с мертвецки пьяным пехотинцем и напоил его еще крепче. Пока бедняга храпел на втором этаже портовой *estaminet*⁴⁹, я успел на отходящий корабль.

И тут начались настоящие несчастья. Но на сегодня довольно.

⁴⁹ Рюмочной (*фр.*).

21

Тишина. Стрекот сверчков. Над головой, на полпути к звездам, как в начале времен, каркнула ночная птица.

– И что случилось, когда вы вернулись?

– Уже поздно.

– Однако...

– Завтра.

Он снова зажег лампу. Отрегулировав фитиль, выпрямился.

– Не стыдно вам ночевать у предателя родины?

– Род человеческий вы не предали.

Мы подошли к окнам его комнаты.

– Род человеческий – ерунда. Главное – не изменить самому себе.

– Но ведь Гитлер, к примеру, тоже себе не изменял.

Повернулся ко мне:

– Верно. Не изменял. Но миллионы немцев себе изменили. Вот в чем трагедия. Не в том, что одиночка осмелился стать проводником зла. А в том, что миллионы окружающих не осмелились принять сторону добра.

Отведя меня в мою спальню, он зажег лампу и там.

– Спокойной ночи, Николас.

– Спокойной ночи. И...

Но он вскинул руку, заставив меня замолчать и отменяя возможные изъявления благодарности. Потом ушел.

Вернувшись из ванной, я посмотрел на часы. Четверть первого. Я разделся, привернул фитиль, постоял у открытого окна. С какой-то помойки даже сейчас, в безветрие, шибало гнилью. Забравшись в постель, я принялся обдумывать поведение Кончиса.

Точнее, изумляться ему, ибо рассуждения мои то и дело заходили в тупик. Теперь он вроде казался более человеческим, не столь непогрешимым, но впечатление от его рассказа портило некий привкус фарисейства. Расчетливая откровенность – не чета простодушной искренности; в самом его беспристрастии, что пристало скорее отношениям романиста к персонажу, а не постаревшего, изменившегося человека к собственной, лично пережитой юности, была чрезмерная нарочитость. Рассказ напоминал биографию, а не автобиографию, за которую Кончис его выдавал; в нем проявлялось скрытое назидание, а не честная исповедь. Конечно, что-то я из него вынес – не настолько же я самонадеян. Но как мог он рассчитывать на отклик, зная меня так мало? К чему все его усилия?

А еще эти шаги, путаница загадочных знаков и событий, фото в кунсткамере, взгляды искоса, Алисон, девочка по имени Лилия, чьи волосы освещает солнце...

Я погружался в сон.

Это началось исподволь, как бред, неуловимо-текуче. Мне показалось, что в спальне Кончиса завели патефон. Я сел, приложил ухо к стене, вслушался. Соскочил с кровати, бросился к окну. Звук шел снаружи, с севера, с дальних холмов в миле-другой от виллы. Ни мерцания, ни внятного шороха, лишь сверчки в саду. И едва различимый, как шум крови в ушах, слабый рокот мужских голосов, хор многих поющих глоток. Рыбаки? – подумал я. Но чего им надо в холмах? Пастухи? Но те ходят в одиночку.

Пение стало слышнее, будто с той стороны подул ветер – но ветра не было; громче... и снова тише. В какое-то безумное мгновение почудилось, что напев мне знаком – но этого быть не могло. Вот он стих, почти совсем заглох.

Затем – непостижимо до оторопи, до жути – звук вновь накатился, и сомнения рассеялись: да, я знаю эту песню. «Типперери». То ли по дальности расстояния, то ли потому, что пластинка (ведь это, конечно, пластинка) крутилась с замедленной скоростью – да и тональность, кажется, была перевернута, – мелодия лилась вяло, смутно, точно во сне, точно зарождалась у звезд и летела к моим ушам сквозь огромное пространство ночи и космоса.

Я подошел к двери, открыл ее. Мне пришло в голову, что проигрыватель спрятан в комнате Кончиса. Каким-то способом звук передается на динамик (или динамики), установленный в холмах, – возможно, в кладовке как раз хранились генератор и радиодетали. Но в доме стояла абсолютная тишина. Закрыв дверь, я привалился к ней спиной. Голоса и мелодия слабо сочились из ночной глубины – через лес, над домом, к морю. Вдруг я улыбнулся, ощутив комичность и дикий, нежный, трогательный лиризм ситуации. Видно, Кончис сыграл эту замысловатую шутку, чтоб доставить мне удовольствие и неназойливо испытать мое чувство юмора, такт и сообразительность. К чему рыскать и выяснять, как он это устроил? Утром все откроется само собой. Я должен вкушать наслаждение? Что ж, подойдем к окну.

Хор стих, стал чуть слышен; зато невыносимо усилилось кое-что другое. Запах помойки, замеченный мной ранее. Теперь он превратился в зверскую вонь, насытившую стоячий воздух, в тошнотворную смесь гниющей плоти и экскрементов, столь густую, что пришлось зажать пальцами ноздри и дышать через рот.

Меж домиком и виллой была узкая щель. Я высунулся из окна: казалось, источник зловония совсем рядом. Я не сомневался, что запах как-то связан с пением. Вспомнился труп в воронке. Но внизу – все спокойно, ничего необычного.

Пение слабело, прекратилось совсем. Через некоторое время стал ослабевать и запах. Я постоял еще минут десять – пятнадцать, наострив глаза и уши. Все спокойно. В доме ни шороха. Никто не поднимается по лестнице, не прикрывает за собой дверь. Стрекотали сверчки, мерцали звезды – будто и не случилось ничего. Я принюхался. Вонь еще чувствовалась, но ее уже перекрывали стерильные запахи леса и морской воды.

Но не почудилось же мне? Я не мог заснуть по меньшей мере час. Ничего не происходило; строить догадки не имело смысла.

Я вступил в зону чуда.

22

Стучат в дверь. За тенистым законным пространством – пылающий небосклон. По стене над кроватью ползет муха. Я взглянул на часы. Половина одиннадцатого. Подойдя к двери, я услышал, как, шаркая шлепанцами, спускается по лестнице Мария.

В ровном сиянии и треске цикад ночные события казались какими-то надуманными, точно я вчера хлебнул дурманного зелья. Но голова была совершенно ясной. Я оделся, побрился и вышел под колоннаду завтракать. Молчаливая Мария принесла кофе.

– О кильос? – спросил я.

– Эфаге. Эйне эпано. – Уже поел; наверху. Подобно деревенским, говоря с иностранцем, она не заботилась о четкости произношения и свои короткие фразы выпевала наспех.

Позавтракав, я взял поднос, прошел вдоль боковой колоннады и спустился к открытой двери домика. Передняя была приспособлена под кухню. Старые календари, цветастые картонные образа, пучки трав и луковиц, свисающее с потолка ведро для хранения мяса, выкрашенное синей краской, – обстановка такая же, как в других кухнях острова. Разве что посуда попримечнее и очаг побольше. Войдя, я поставил поднос на стол.

Из задней комнаты появилась Мария; я разглядел за ее спиной обширную медную кровать, еще образа, фотографии. Губы ее поползли в улыбке; но радушие было всего лишь данью вежливости. Спрашивать о чем-нибудь по-английски и не выглядеть заискивающе в данных обстоятельствах я не смог бы; по-гречески, при моих-то знаниях, – и подавно нет смысла. Поколебавшись, я взглянул на ее лицо, приветливое, как дверная филенка, и отступился.

Я протиснулся меж виллой и домиком в сад. Закрытое ставнями окно на западной стороне виллы располагалось напротив задней двери комнаты Кончиса. Похоже, за ней кое-что посущественней туалетной. Потом я осмотрел дом с северной стороны – туда выходило мое окно. За тыльной стеной хижины легко укрыться, но почва тут голая и твердая; никаких следов. Я забрел в беседку. Приапчик вскинул руки, щерясь в мою английскую физиономию языческой ухмылкой.

Не подходи!

Через десять минут я оказался на частном пляже. Вода, в первый момент ледяная, а затем освежающе прохладная, колыбалась сине-зеленым стеклом; я миновал крутые утесы и выбрался на простор. Отплыв ярдов на сто, я увидел позади весь скалистый уступ мыса и виллу на его хребте. Увидел даже Кончиса, который сидел на террасе, там, где мы разговаривали вечером, в позе читающего. Тут он поднялся, и я помахал ему. Он вскинул руки на свой чудной жреческий манер – теперь я понимал, что этот жест не случаен, он что-то значит. Темный силуэт на высокой белой террасе; солнечный легат приветствует светило; мощь античных царей. Он казался – хотел казаться – стражем, кудесником, повелителем; владение и владетель. Вновь я вспомнил Просперо; не упомяни он его в самом начале, сейчас я все равно бы о нем подумал. Я нырнул, но глаза мои стянула соль, и я выскочил на поверхность. Кончис отвернулся – поболтать с Ариэлем, который заводил патефон; или с Калибаном, притащившим корзину тухлых потрохов; или, может быть, с... но тут я лег на спину. Смешно фантазировать, имея в запасе лишь шелест быстрых шагов, неверный отсвет белой фигуры на глазной сетчатке.

Минут через десять, когда я подплыл к берегу, он уже сидел на бревне. Дождавшись, пока я выйду из воды, поднялся и сказал:

– Сядем в лодку и поплывем к Петрокарави.

Петрокарави, «каменный корабль» – пустынный островок в полумиле от западной оконечности Фраксосу. На Кончисе были купальные трусы и щегольская красно-белая кепка для водного поло, в руках – синие резиновые ласты, пара масок и дыхательных трубок. Я брел по горячим камням, рассматривая его загорелую старческую спину.

– Подводная часть Петрокарави весьма любопытна. Вот увидите.

– А у Бурани, по-моему, надводная. – Я поравнялся с ним. – Ночью я слышал пение.

– Пение? – Но он ни капли не удивился.

– Пластинку. Никогда не переживал подобных ощущений. Отличная идея.

Не отвечая, он сошел в лодку и снял с мотора крышку. Я отвязал конец от железного кольца, вделанного в бетон, присел на причале, наблюдая, как он копается в моторе.

– У вас что, динамики в лесу?

– Я ничего не слышал.

Я повертел трос в руке и усмехнулся:

– Но я-то слышал, вы же знаете.

Он поднял голову.

– С ваших слов.

– Вы не сказали: ну надо же, пение, какое пение? А именно это было бы естественной реакцией.

Он нетерпеливым жестом пригласил меня в лодку. Я спустился туда и сел на скамейку напротив него.

– Я просто хотел сказать спасибо, что вы устроили мне такое необычное развлечение.

– Я ничего не устраивал.

– При всем желании не могу в это поверить.

Мы не сводили друг с друга глаз. Красно-белая обтягивающая кепка над обезьяньими глазницами придавала ему вид циркового шимпанзе. А вокруг ждали солнце, море, лодка, ясные и простые. Я продолжал улыбаться; но он не отвечал мне улыбкой. Словно, упомянув о пении, я допустил бестактность. Он наклонился, чтобы установить ручку управления.

– Дайте помогу. – Я взялся за ручку. – Я совсем не собирался вас сердить. Больше ни слова об этом.

Я присел, готовясь запустить мотор. Вдруг он положил ладонь мне на плечо.

– Я не сержусь, Николас. И не прошу вас верить. Прошу лишь делать вид, что верите. Так вам будет легче.

Как странно. Быстрый жест, легкое движение лицевых мышц, изменение тембра голоса – и между нами вновь возникло напряжение. С одной стороны, я понимал, что он готовится к некоему фокусу, вроде фокуса со свинцовой костью. С другой – что он наконец проникся ко мне хоть какой-то теплотой. Устанавливая винт, я подумал, что ради этого готов играть роль шута; только бы не стать шутом на самом деле.

Мы развернулись к выходу из залива. Шум мотора мешал говорить, и я стал разглядывать разбросанные по дну на глубине пятидесяти – шестидесяти футов бледные каменные плиты, усеянные морскими ежами. На левом боку Кончиса виднелись два сморщенных рубца. Следы пуль, прошедших навывлет; на правом плече – еще один давний шрам. Я решил, что он заработал их на Второй мировой, когда его расстреливали. Он сидел и правил, шуплый, как Ганди; но в виду Петрокарави привстал, ловко прижимая румпель к загорелому бедру. Годы пребывания на солнце сообщили его коже оттенок красного дерева, каким щеголяли местные рыбаки.

Островок поразил меня огромными спекшимися утесами, невероятно, чудовищно гладкими. Вблизи он оказался гораздо больше, чем могло представиться с Фраксоса. Мы бросили якорь ярдах в пятидесяти от берега. Он протянул мне маску и трубку. В ту пору в Греции они не были распространены, и я ими никогда не пользовался.

Ласты Кончиса медленно, с остановками месили воду чуть впереди. Внизу раскинулся каменистый ландшафт. Меж гигантских глыб парили и перемещались рыбы косяки. Плоские рыбы, посеребренные, чиновные; стройные, стреловидные; зеркально симметричные, тупо выглядывающие из ямок; голубые с искрой, на мгновение зависающие в воде; красно-черные, порхающие; лазурно-зеленые, вкрадчивые. Он показал мне подводный грот – тонкоколонный

неф, полный прозрачно-синих теней, где, словно в забытии, плавал крупный губан. С той стороны островка скалы резко обрывались в гипнотическую, глубокую синеву. Кончис высунул голову из воды.

– Вернусь, пригоню лодку. Подождите тут.

Я поплыл вдоль берега. За мной увязался косяк серо-золотых рыбок, несколько сотен. Я поворачивал – они поворачивали следом. Я плыл вперед – они не отставали; их настырное любопытство было чисто греческим. Потом я улегся на каменную плиту, вода у которой нагрелась, как в ванне. На плиту легла тень лодки. Углубившись в расселину меж валунами, Кончис насадил на крючок белую тряпочку. Я, как птица, парил в воде, наблюдая за осьминогом, которого тот собирался подманить. Вот извилистое щупальце подползло и схватило наживку, за ним – другие, и Кончис принялся умело вытягивать осьминога из воды. Я сам практиковался в ловле и знал, что это не так просто, как можно подумать, глядя на деревенских мальчишек. Осьминог неохотно, но продвигался, лениво клубясь, конечности этого пожирателя утопленников, оснащенные присосками, вытягивались, стремились, искали. Вдруг Кончис поддел его острой, перевалил в лодку, полоснул по брюху ножом и мгновенно вывернул наизнанку. Я перекинул ногу через борт.

– Я поймал их тут тысячу. Ночью в его нору залезет новый. И так же быстро пойдет на приманку.

– Бедняга.

– Как видите, действительность не имеет большого значения. Даже осьминог предпочитает иллюзию.

Ветхое полотно, от которого он отодрал «наживку», лежало перед ним. Я вспомнил, что сейчас воскресное утро; час проповедей и притч. Он оторвался от созерцания чернильной лужицы.

– Ну и как вам нижний мир?

– Невероятно. Будто сон.

– Будто человечество. Но явленное средствами, какие существовали миллионы лет назад. – Швырнул осьминога под скамейку. – По-вашему, есть у него бессмертная душа?

Отведя взгляд от клейкого комочка, я наткнулся на сухую улыбку. Красно-белая кепка чуть сбилась набок. Теперь он был похож на Пикассо, притворяющегося Ганди, который, в свою очередь, притворяется флибустьером.

Он поддал газу, и мы рванули вперед. Я подумал о Марне, о Нефшапели и покачал головой. Он кивнул, поднял белое полотнище. Зубы и те блестели как поддельные, слишком гладкие в ярком солнечном свете. Глупость – дорога к смерти, говорил весь его вид; а я, смотрите-ка, выжил.

23

Мы пообедали под колоннадой, по-гречески, без затей: козий сыр, салат из яиц и зеленого перца. В соснах вокруг пиликали цикады, за прохладным навесом утюжил землю зной. На обратном пути я еще раз попытался прояснить ситуацию, с напускной беззаботностью спросив о Леверье. Он помедлил и взглянул на меня с унынием, сквозь которое брезжила усмешка.

– Значит, этому теперь в Оксфорде учат? Читать книгу с конца?

Ничего не оставалось, как улыбнуться и отвести глаза. Хотя ответ не утолил мое любопытство, он бросил мне новый вызов, и тем самым наши отношения вступили в очередную стадию. Косвенным образом – а к таким околичностям я понемногу привыкал – мне польстили: при моем-то уме не догадаться, в какую игру со мной играют! Я, конечно, понимал, что с помощью этой древней как мир лести старики управляют поведением молодых. Но устоять перед ней не мог; так подкупают в книгах избитые сюжеты, примененные с толком и к месту.

За едой мы обсуждали подводный мир. Кончис воспринимал его как огромный акростих, как лабораторию алхимика, где каждая вещь обладает магическим смыслом, как запутанную историю, над которой ломаешь голову, расшифровываешь, следуя собственному наитию. Естествознание было для него чем-то сокровенным, поэтичным; школьным учителям и шутникам из «Панча» тут нечего делать.

Поев, он встал из-за стола. Ему надо пойти к себе и отдохнуть. Увидимся за чаем.

– Чем собираетесь заняться?

Я открыл старый номер «Тайма», лежавший под рукой. Меж его страниц покоилась брошюра XVII века.

– Еще не прочли? – сделал удивленное лицо.

– Сейчас и возьмусь.

– Хорошо. Это раритет.

Вскинув руку, он скрылся в доме. Я пересек гравийную площадку и побрел через лес в восточном направлении. Покатый склон сменился откосом; ярдов через сто дом заслонила невысокая скала. Я очутился на краю глубокой лощины, заросшей олеандрами и колючим кустарником, что круто спускалась к частному пляжу. Сел, прислонился к стволу и углубился в брошюру. Кроме предсмертной исповеди Роберта Фулкса, священника из шропширской деревушки Стентон-Лэси, в ней содержались сочиненные им письма и молитвы. Ученый муж, отец двоих сыновей, в 1677 году он завел себе малолетнюю любовницу, а ребенка, родившегося от этой связи, убил; за это его и приговорили к смерти.

Чудесный, энергичный стиль, каким писали в Англии до Драйдена, в середине XVII века. Фулкс «достиг вершин беззакония», хоть и сознавал, что «священник есть Зерцало народное». «Оборите василиска», – взывал он из своего узилища. «В глазах закона я труп» – но он отрицал, что «тщился надругаться над девятигодовой девою»; ибо «у смертных врат клянусь, что повинны в содеянном лишь ее очи и длани».

Я прочел сорокастраничную брошюру за полчаса. Молитвы пропустил, но согласился с Кончисом: этот текст убедительнее любого исторического романа – живее, богаче, человечнее. Я запрокинул голову и сквозь путаницу ветвей вперился в небо. Как удивительно, что рядом лежит старинная брошюра, обломок ушедшей Англии, затерявшийся на этом греческом острове, в сосновом лесу, на языческой земле. Закрыв глаза, я стал наблюдать за плоскостями теплого цвета, наплывавшими, когда я сжимал или расслаблял веки. Потом я уснул.

Пробудился и, не повернув головы, взглянул на циферблат. Прошло полчаса. Подремав еще минуту-другую, я выпрямил спину.

Он стоял в глубокой чернильно-зеленой тени густого рожкового дерева, в семидесяти – восьмидесяти ярдах, на противоположном склоне лощины, вровень со мной. Я вскочил, не

зная, звать ли на помощь, хлопать в ладоши, пугаться, хохотать; изумление приковало меня к месту. Человек был в черном с головы до ног; шляпа с высокой тульей, мантия, что-то вроде юбочки, черные чулки. Длинные волосы, прямоугольный белый кружевной воротник, две белые ленточки. Черные туфли с оловянными пряжками. Он стоял в тени, в позе рембрандтовской модели, поразительно правдоподобный и абсолютно неуместный – полный, важный, краснолицый мужчина. Роберт Фулкс.

Я огляделся, ожидая, что вот-вот появится Кончис. Но никто не появлялся. Я снова повернулся к неподвижной фигуре, упорно глядящей на меня через овраг, сквозь солнце и тень. И тут из-за рожкового дерева выступил еще один персонаж. Бледная девочка лет четырнадцати в темно-коричневом платье до пят. На макушке тесная пурпурная шапочка. Длинные локоны. Встав рядом с ним, она тоже повернулась ко мне лицом. Ростом она была гораздо ниже и едва доходила ему до подмышек. Так, глядя друг на друга, мы стояли не меньше тридцати секунд. Потом я улыбнулся, помахал рукой. Никакой реакции. Я прошел ярдов десять вперед, на солнечный свет; дальше начинался обрыв.

– Добрый день! – крикнул я по-гречески. – Что вы там делаете? – И снова: – Ти канете?

Но они не собирались отвечать. Стояли и смотрели на меня – мужчина, казалось, с тайным негодованием, девочка без всякого выражения. Под дуновением бриза коричневая лента, украшавшая ее платье сзади, слабо колыхалась.

Генри Джеймс, подумал я. Старик обнаружил, что винт может сделать еще один поворот. Хоть бы краснел иногда, что ли. Я вспомнил, как он говорил о жанре романа. *Слова нужны, чтобы отражать факты, а не фантазии.*

Я опять огляделся, посмотрел в направлении виллы; теперь-то Кончис должен объявиться. Но нет. Только я сам, с глупейшей улыбкой на лице – и те двое в зеленой тени. Девочка придвинулась к мужчине поближе, и он напыщенным, патриархальным жестом положил руку ей на плечо. Похоже, они ждали, что я предприму. Кричать бесполезно. Надо подойти к ним вплотную. Я заглянул в лощину. На протяжении ближайших ста ярдов спуск был слишком крут, но дальше склон, кажется, проходимее. Махнув в ту сторону, я стал подниматься по холму, то и дело оглядываясь на молчаливую парочку под деревом. Они провожали меня глазами, пока не исчезли за изгибом оврага. Я перешел на бег.

Спуск оказался не очень трудным, хотя на противоположном склоне пришлось продирается сквозь цепкий, шипастый смилакс. Выбравшись из лощины, я вновь пустился бегом. Внизу замаячило рожковое дерево. Под ним никого не было. Через несколько секунд – а с тех пор, как я потерял их из виду, не прошло и минуты – я достиг подножия дерева, устланного ровным покровом сухих плодов. Посмотрел на то место, где спал. Прямоугольнички брошюры и «Тайма», один серый, другой с красной окантовкой, лежали на блеклом хвойном ковре. Обогнув ствол, я шел, пока не уперся в проволочную ограду, бегущую через лес у подъема на водораздел: восточная граница Бурани. Три хижины беззаботно нежились в зарослях маслин. В каком-то исступлении я вернулся к рожковому дереву, вдоль восточного склона лощины спустился к обрыву над частным пляжем. Кустарник здесь рос пышно, однако спрятаться в нем можно было лишь лежа. Трудно представить такого здоровяка лежащим на брюхе, затаившимся.

С виллы донесся звон колокольчика. Три раза. Я посмотрел на часы – время пить чай. Колокольчик ожил снова: два коротких звонка и длинный; я понял, что вызывают мое имя.

Наверное, я должен был испугаться. Но не чувствовал страха. Его пересилили прежде всего любопытство и растерянность. И мужчина, и молочно-бледная девочка производили впечатление настоящих англичан; и, какой бы национальности они ни были, жили они явно не на Фраксоне. Получалось, что их доставили сюда специально; где-то скрывали, ожидая, пока я прочту брошюру Фулкса. Я облегчил им задачу тем, что уснул, и уснул на краю оврага. Но

то была чистая случайность. Как мог Кончис все это время держать их в готовности? И куда они подевались потом?

Мысли мои ненадолго погрузились во тьму, в ту область, где мой жизненный опыт ничего не значил, где обитали призраки. Но во всем этом «духовидении» было нечто неистребимо плотское. И потом, средь бела дня «привидения» впечатляют гораздо меньше. Мне словно намекали, что на самом деле ничего сверхъестественного не происходит; я вспомнил многозначительную, обескураживающую просьбу Кончиса притвориться, что я верю; так будет легче. Почему легче? Благоразумнее, вежливее – да; но слово «легче» предполагало, что я должен пройти через некий искуc.

Я растерянно стоял посреди леса; и вдруг улыбнулся. Меня угораздило попасть в гущу старческих прихотливых фантазий. Это понятно. Почему они одолевают его, почему он воплощает их такими странными способами и, главное, почему выбрал меня в качестве единственного зрителя, оставалось загадкой. Но я понимал: мне предстоит приключения столь необычные, что глупо избегать их или портить нетерпением ли, чрезмерной придирчивостью.

Я вновь форсировал овраг, подобрал «Тайм» и брошюру. И тут, глядя на темное, таинственное рожковое дерево, почувствовал слабый укол страха. Но то был страх перед необъяснимым, неизвестным, а не сверхъестественным.

Идя по гравии к колоннаде, где спиной ко мне уже сидел Кончис, я выработал линию поведения – точнее, тактику защиты.

Он обернулся.

– Как отдохнули?

– Спасибо, хорошо.

– Прочли брошюру?

– Вы правы. Она увлекательнее исторических романов. – Моя саркастическая интонация ему была что об стенку горох. – Огромное спасибо. – Я положил брошюру на стол.

И замолчал. А он как ни в чем не бывало налил мне заварки.

Сам он уже напился чаю и минут на двадцать ушел в концертную поиграть на клавикогдах. Слушая его, я размышлял. Цепь странных событий выстроена так, чтобы затронуть все органы чувств. Ночью упор был сделан на обоняние и слух; сегодня и вчера вечером, в случае с призрачным силуэтом, – на зрение. Вкус, похоже, не имеет значения... но осязание! Не ждет же он, что я поверю, даже притворно, что касаюсь некой «духовной» субстанции. И какова действительная – вот именно: действительная! – связь между этими фокусами и «путешествиями к другим планетам»? Объяснилось пока только одно: его озабоченность – не сообщили ли Митфорд и Леверье чего-нибудь лишнего. Он и на них пробовал свои удивительные аттракционы, а потом взял клятву молчать.

Выйдя из дома, он повел меня поливать огород. Воду приходилось качать из резервуара с узким горлом – за домиком их выстроилась целая обойма; полив все грядки и клумбы, мы уселись у Приаповой беседки, окруженные непривычным для греческого лета свежим ароматом сырой земли.

Он занялся дыхательной гимнастикой – еще один ритуал, которыми, очевидно, заполнено все его время; потом улыбнулся и продолжил разговор, оборванный ровно сутки назад.

– Расскажите о своей девушке. – Не просьба, а приказание; точнее, отказ поверить в то, что я вновь отвечу отказом.

– Да и рассказывать особенно нечего.

– Она вас бросила?

– Нет. Сперва было наоборот. Я ее бросил.

– А теперь вам хочется...

– Все кончено. Слишком поздно.

– Вы говорите как Адонис. Вас что, тоже кабан задрал?⁵⁰

Наступило молчание. Я решился. Мне хотелось открыться с тех самых пор, как выяснилось, что он изучал медицину; теперь он, может, перестанет подшучивать над моим пессимизмом.

– Вроде того. – Он внимательно посмотрел на меня. – Я подхватил сифилис. Зимой, в Афинах. – Он не отводил глаз. – Сейчас все в порядке. Кажется, вылечился.

– Кто поставил диагноз?

– Врач из деревни. Пэтэреску.

– Опишите симптомы.

– Клиника в Афинах диагноз подтвердила.

– Еще бы, – сухо сказал он; так сухо, что я мгновенно понял намек. – Так опишите симптомы.

В конце концов он вытянул из меня все до мелочей.

– Я так и думал. Мягкий шанкр.

– Мягкий?

– Шанкроид. *Ulcus molle*. В Средиземноморье этот недуг весьма распространен. Неприятно, но безобидно. Лучшее лечение – вода и мыло.

– Какого же черта...

Он потер большим пальцем об указательный: в Греции этот жест обозначает деньги, деньги и подкуп.

– Вы платили за лечение?

– Да. За этот специальный пенициллин.

– Выброшенные деньги.

– Я могу подать на клинику в суд?

– А как докажете, что не болели сифилисом?

– Вы хотите сказать, Пэтэреску...

– Я ничего не хочу сказать. С точки зрения врачебной этики он вел себя безупречно. Без анализа в таких случаях не обойтись. – Он будто выгораживал их. Чуть пожал плечами: такова жизнь.

– Мог бы предупредить.

– Наверное, счел, что важнее уберечь вас от болезни, чем от мошенничества.

– О господи...

Во мне боролись облегчение (диагноз не подтвердился) и гнев (я стал жертвой подлого обмана). Кончис продолжал:

– Будь это даже сифилис – почему вы не могли вернуться к любимой девушке?

– Знаете... сложно объяснить.

– Такие вещи объяснить всегда непросто.

Понемногу, понукаемый его вопросами, я путано рассказал об Алисон; отплатил за вчерашнюю откровенность той же монетой. И опять не ощутил его сочувствия; одно только плотное, беспричинное любопытство. Я сказал, что недавно написал ей.

– И она не отвечает?

Я пожал плечами:

– Не отвечает.

– Вы помните о ней, тоскуете – напишите снова. – Я слабо улыбнулся его энтузиазму. – Вы бросили все на волю случая. Предоставлять свою судьбу случаю – все равно что идти ко дну. – Потряс меня за плечи. – Плывайте!

– Дело не в том, чтоб уметь плавать. А в том, чтобы знать куда.

⁵⁰ По мифу, Артемиды из ревности к Афродите (Астарте) натравила на прекрасного юношу Адониса дикого кабана.

– К этой девушке. Вы говорите, она видит вас насквозь, понимает вас. И прекрасно.

Я не ответил. Черно-желтая бабочка, ласточкин хвост, порхала по бугенвиллеям Приаповой беседки; не найдя меда, скрылась между деревьями. Я чиркнул подошвой по гравии.

– Видно, я не умею любить по-настоящему. Любовь – это не только секс. А меня все остальное почему-то мало волнует.

– Милый юноша, да вы неудачник. Разочарованный, мрачный.

– Когда-то я слишком много о себе понимал. И похоже, напрасно. Иначе теперь не считал бы себя неудачником. – Я посмотрел на него. – Дело не только во мне. Время такое. Все мои сверстники чувствуют то же самое.

– Именно сейчас, когда наступило величайшее в истории просветление? За последние пятьдесят лет тьма отступила так далеко, как не отступала и за пять миллионов!

– Под Нефшателью отступила? В Хиросиме?

– Но мы с вами! Мы живем, и в нас дышит этот чудесный век. Мы-то не разрушены. И ничего не разрушали.

– Человек – не остров⁵¹.

– Да глупости. Любой из нас – остров. Иначе мы давно бы свихнулись. Между островами ходят суда, летают самолеты, протянуты провода телефонов, мы переговариваемся по радио – все что хотите. Но остаемся островами. Которые могут затонуть или рассыпаться в прах. Но ваш остров не затонул. Нельзя быть таким пессимистом. Это невозможно.

– Очень даже возможно.

– Пойдемте. – Он вскочил, словно промедление было губительно. – Пойдемте. Я открою вам свою главную тайну. Пойдемте. – Заспешил к колоннаде. Мы поднялись на второй этаж. Он вытолкнул меня на террасу. – Садитесь за стол. Спиной к свету.

Через минуту он вынес тяжелый предмет, завернутый в белое полотенце. Осторожно положил на середину стола. Помедлил, убедившись, что я смотрю внимательно, и торжественно убрал покрывало. Каменная голова – мужская или женская, не разберешь. Нос отколот. Волосы стянуты лентой, по бокам свисают две пряди. Но сущность скульптуры заключалась в выражении лица. На нем сияла ликующая улыбка; ее можно было бы счесть самодовольной, если б не светлая, философская ирония. Глаза с узким азиатским разрезом тоже улыбались – Кончис подчеркнул это, прикрыв губы скульптуры рукой. Мастерски схваченный изгиб рта навеки запечатлел и мудрость, и радость модели.

– Вот она, истина. Не в серпе и молоте. Не в звездах и полосах. Не в распятии. Не в солнце. Не в золоте. Не в инь и ян. В улыбке.

– Она ведь с Киклад?

– Не важно откуда. Смотрите. Смотрите ей в глаза.

Он был прав. Освещенный солнцем кусочек камня обладал неземным достоинством; он нес не столько благодать, сколько знание о ее законах; неколебимую уверенность. Но, взглядевшись, я ощутил не только это.

– В ее улыбке есть что-то безжалостное.

– Безжалостное? – Он зашел мне за спину и посмотрел через мое плечо. – Это истина. Истина безжалостна. Но не ее суть и значение, лишь форма.

– Скажите, где ее нашли?

– В Дидиме. В Малой Азии.

– А когда изваяли?

– В шестом или седьмом веке до нашей эры.

– Интересно, какова была бы эта улыбка, знай скульптор о Бельзене?

⁵¹ Аллюзия на известное высказывание Джона Донна.

– Мы чувствуем, что живем, только потому, что заключенные в Бельзене умерли. Мы чувствуем, что наш мир существует, только потому, что тысячи таких же миров погибают при вспышке сверхновой. Эта улыбка означает: могло не быть, но есть. – И добавил: – Когда буду умирать, положу ее рядом с собой. Другие лица мне видеть не захочется.

Головка наблюдала, как мы рассматриваем ее; наблюдала нежно, непреклонно, с жестокой неизъяснимостью. Меня осенило: та же улыбка порой играла на устах Кончиса; будто он тренировался, сидя перед этой скульптурой. Одновременно я точно сформулировал, что именно в ней мне не по душе. То была улыбка трагической иронии, улыбка обладателя запретных знаний. Я обернулся, посмотрел в лицо Кончиса и понял, что прав.

24

Звездная тьма над крышей, лес, море; посуда убрана, фитиль лампы прикручен. Я откинулся в шезлонге. Он помедлил, пока ночь тихо обволакивала нас, оттесняла ход времени, и повлек меня сквозь десятилетия.

– Апрель пятнадцатого. До Англии я добрался без приключений. Но не знал, как вести себя дальше. Нужно было как-то оправдаться. В девятнадцать лет человек не согласен просто совершать поступки. Ему важно их все время оправдывать. Завидев меня, мать лишилась чувств. В первый и последний раз я узрел слезы на глазах отца. До самой встречи я собирался сказать им правду. Лгать было бы низко. Но лицом к лицу с ними... возможно, то была обычная трусость, не мне судить. Есть слова, произносить которые слишком жестоко. И я сказал, что мне выпал счастливый жребий; теперь, когда Монтегю убит, я должен вернуться в родной батальон. Врал как одержимый. Без расчета, с излишней изобретательностью. Заново выдумал битву под Нефшапелью, словно истина была недостаточно ужасна. Сказал даже, что рассматривается вопрос, не комиссовать ли меня.

Поначалу удача мне улыбалась. Через два дня после приезда пришло извещение, что я пропал без вести, по-видимому погиб на поле боя. Подобные ошибки случались слишком часто, чтобы родители что-нибудь заподозрили. Бумагу торжественно порвали.

А Лилия! Видно, происшедшее помогло ей разобраться в своих чувствах ко мне. Во всяком случае, у меня больше не было повода для жалоб, что меня воспринимают скорее как брата, а не как любимого. Знаете, Николас, при всех отрицательных сторонах мировая война почти вытравила болезненный налет в отношениях между полами. Впервые с начала века женщина поняла, что мужчина ждет от нее кое-чего посущественнее монашеского целомудрия и *bien pensant*⁵² идеализма. Я не хочу сказать, что Лилия вдруг пустилась во все тяжкие. Или что она отдалась мне. Но она уступила мне все, что могла. Эти часы наедине с ней... они придавали мне сил для дальнейшего обмана. И в то же время подчеркивали всю его низость. Вновь и вновь меня терзало желание открыть ей правду, пока правосудие не настигло меня. Каждый вечер я боялся застать дома полицию. И ярость отца. И, всего хуже, взгляд Лилии. Но с ней я избегал вспоминать о войне. Ей казалось, что она догадывается о причинах моей уклончивости. Была глубоко тронута, проявляла невероятную деликатность. Ее теплота. Я присосался к любви, как пиявка. Весьма разборчивая пиявка. Лилия превратилась в очень красивую девушку.

Раз мы поехали на природу, к северу от Лондона – по-моему, неподалеку от Барнета; не помню, как назывался тот лес, но был он тогда крайне живописен и безлюден, если учитывать близость города.

Мы лежали на траве и целовались. Смейтесь, смейтесь. Да, всего лишь лежали и целовались. Сейчас вы, молодежь, делитесь друг с другом своими телами, забавляетесь ими, отдаетесь целиком, а нам это было недоступно. Но знайте: при этом вы жертвуете тайнами драгоценной робости. Вымирают не только редкие виды животных, но и редкие виды чувств. Мудрец не станет презирать людей прошлого за то, что те многого не умели; он станет презирать себя, ибо не умеет того, что умели они.

В тот день Лилия призналась, что хочет выйти за меня. Без оглашения – а если придется, и без согласия родителей, так что на сей раз, когда я отправлюсь на войну, наша плоть будет едина, как и – осмелюсь ли произнести «души»? – ну, по крайней мере, помыслы. Я жаждал спать с ней, войти в нее. Но подлая ложь разделяла нас, будто меч – Тристана и Изольду. И вот среди цветов, среди невинных птиц и деревьев мне пришлось изображать благородство. Как мог я отвергнуть ее просьбу, если не посредством уверений, что в предвидении возможной смерти

⁵² Благонамеренного (фр.).

не смею принять этот дар? Она запротестовала. Разрыдалась. Мой лепет, жалкие резоны виделись ей в гораздо более выгодном свете, чем того заслуживали. Вечером, на опушке, с такими торжественностью и чистотой, с таким предельным самозабвением, какие я не могу вам описать, ибо клятвы, что не требуют клятв в ответ, также принадлежат к сонму вымерших чудес, она сказала: «Что бы ни случилось, я выйду только за тебя».

...Он умолк на мгновение, словно пешеход, занесший ногу над обрывом; возможно, то была пауза, специально рассчитанная на эффект, но мне показалось, что ночь и звезды ждут продолжения, будто рассказ, повествование, история венчают естественный ход вещей, будто вселенная существует потому, что длится рассказ, а не наоборот.

– Срок моей двухнедельной «побывки» истекал. У меня не было плана действий, точнее – было несколько десятков планов, что еще хуже. Порой я всерьез собирался вернуться во Францию. Но стоило вспомнить неверные желтые силуэты, что пьяной походкой надвигались на меня из-за дымного полога... я понимал, что значит для мира война и что значит для меня мир. Пытался закрыть на это глаза – и не мог.

Я натянул форму; отец, мать и Лилия поехали проводить меня на вокзал Виктория. Они думали, что я получил назначение в военный лагерь под Дувром. Состав был набит солдатами. Я вновь ощутил мощный ток войны, ощутил, как меня подхватывает европейская воля к смерти. Сошел на каком-то полустанке в графстве Кент. Два-три дня отсиживался в местной гостинице для проезжих коммерсантов. У меня не было ни целей, ни надежд. От войны не скроешься. Она лезла в глаза и уши. Наконец я вернулся в Лондон, к единственному в Англии человеку, кто еще мог предоставить мне приют: к деду (на самом деле – двоюродному). Ведь он был грек, любил во мне сына своей племянницы; кроме того, греки ставят семейные связи выше всех прочих соображений. Он выслушал меня. Встал, подошел вплотную. Я понял, что он собирается сделать. Он хлестнул меня по лицу, сильно, так сильно, что я до сих пор чувствую боль удара. И сказал: «Вот что я об этом думаю».

Я хорошо понимал, что при этом он подразумевает «хоть и собираюсь тебе помочь». Он вышел из себя, обрушил на мою голову все греческие проклятия. Но – спрятал. Может, потому, что я убедил его: даже если я вернусь в строй, меня расстреляют как дезертира. Наутро он отправился к матери. Кажется, он предложил ей выбор – между гражданским долгом и материнским. Она пришла повидаться; ее немногословие напугало меня сильнее, чем гнев папуса. Я понял, что, когда отец узнает правду, достанется прежде всего ей. Они с папусом сговорились тайно вывезти меня из Англии, к аргентинским родственникам. К счастью, папус располагал и деньгами, и полезными знакомствами в торговом флоте. Все было готово. Дата отъезда назначена.

Я три недели безвылазно провел в его доме, мучимый припадками такого самоуничижения и страха, что несколько раз хотел покончить с собой. Дополнительные страдания причиняла мысль о Лилии. Я обещал писать ей ежедневно. И конечно, не писал. Меня не волновало, что подумают другие. Но ей я обязан был доказать, что нормален, – это весь мир сошел с ума. Доводы, что я заготовил, апеллировали скорее к рассудку, чем к житейскому опыту, – обладают же некоторые безупречным нравственным инстинктом, способны же распутать сложнейшую этическую шараду, как индийские крестьяне подчас мгновенно проделывают в уме многоходовые математические выкладки. Именно такова была Лилия. И я искал оправдания из ее уст.

Раз вечером я не выдержал. Выскользнул из своего убежища и отправился в Сент-Джонс-Вуд. Я знал, что сегодня Лилия пойдет в приходский кружок, где раз в неделю женщины шьют и вяжут вещи для фронта. Я подстерег ее по пути туда. Стояли теплые майские сумерки. Мне повезло. Она была одна. Я выскочил на тротуар из ближайшего подъезда. Она побледнела от испуга. По моему лицу, по штатской одежде поняла: случилось что-то ужасное. Стоило мне увидеть ее, как любовь переполнила меня, вытеснила все фразы, которые я заготовил. Не помню, что в точности я говорил. В памяти осталось лишь, как я иду рядом с ней сквозь

сумрак к Риджентс-парку: мы оба стремились к темноте и уединению. Долгое время она не спорила, не произносила ни слова, не смотрела в мою сторону. Мы очутились на берегу унылого канала, что пересекает северную часть парка. На скамейке. Тут она заплакала. Я не имел права ее утешать. Я солгал ей. Это было непростительно. Не то, что я дезертировал. То, что солгал. Несколько минут она смотрела в сторону, на черную поверхность канала. Потом взяла меня за руку, чтоб я замолчал. Наконец обняла – в полной тишине. Будто все добро Европы охватило руками все ее зло.

Но мы говорили на разных языках. Допустимо, даже естественно, чувствовать себя правым перед историей и кругом виноватым перед теми, кого любишь. Когда Лилия нарушила молчание, выяснилось, что она ничего не поняла в моих рассуждениях о войне. Что свою роль она видела в том, чтобы стать не желанным ангелом прощения, но ангелом-избавителем. Упрашивала вернуться в полк. Считала, что иначе меня ждет духовная смерть. Снова и снова твердила о «воскресении». А я снова и снова вопрошал: что будет с тобой и со мной? И вот услышал ее приговор: она возвратит мне любовь только при условии, что я вернусь на фронт – не ради нее, ради себя. Чтобы стать самим собой. А клятва, которую она дала тогда в лесу, остается в силе: никого, кроме меня, не назовет она своим мужем.

В конце концов мы замолчали. Вы должны понять, что любовь – это тайна, пролеглая меж двумя людьми, а не сходство двоих. Мы находились на разных полюсах человечества. Лилия – на том, где правит долг, где нет выбора, где страждут и взыскуют общественной милости. Где человек одновременно и распят, и шагает крестным путем. А я был свободен, как трижды отрекшийся Петр, я собирался уцелеть любой ценой. До сих пор вижу перед собой ее лицо. Оно все глядит, глядит во мрак, пытается проникнуть сквозь пелену мира сего. Нас будто заперли в пыточной камере. Все еще любящих, но прикованных к противоположным стенам, чтоб вечно смотрели и никогда не смогли коснуться друг друга.

Я не был бы мужчиной, если б не попробовал вытянуть из нее что-нибудь утешительное. Что она будет ждать, не осудит безоговорочно... и тому подобное. Но она остановила меня взглядом. Взглядом, который я до конца дней не забуду, ибо в нем сквозила чуть ли не ненависть, а ненависть так же не шла ей, как злость – Богородице; это противоречило самой природе вещей.

Мы молча пошли к воротам. Я простился с ней под уличным фонарем. У садика, где буйно цвела сирень. Ни прикосновения. Ни единого слова. Два юных лица, вдруг постаревших, обращены друг к другу. Миг из тех, что длятся и после того, как остальные звуки, предметы, вся та будничная улица отданы праху и забвению. Бледные лица. Запах сирени. И бездонная тьма.

...Он остановился. Голос его не дрогнул; но я вспомнил Алисон, ее последний взгляд.

– Вот и все. Четырьмя днями позже я полсуток протрадал в трюмной сырости греческого грузового судна в ливерпульских доках.

Молчание.

– И вы больше с ней не виделись?

В вышине запищала летучая мышь.

– Она умерла.

– Скоро? – не отставал я.

– Ранним утром девятнадцатого февраля тысяча девятьсот шестнадцатого года. – Я вгляделся в его лицо, но было слишком темно. – Началась эпидемия брюшного тифа. Она работала в госпитале.

– Бедняжка.

– Все в прошлом.

– Вы как бы воскрешаете это. – Он наклонился ко мне, не понимая. – Запах сирени.

– Старческие сантименты. Прошу прощения.

Он смотрел в ночь. Мышь пронеслась так низко, что ее силуэт на долю мгновения заслонил Млечный Путь.

– Потому вы и не женитесь?

– Мертвые живы.

Чернота леса. Я напрягся: шагов не слышно. Предчувствие.

– Каким образом?

И снова он помолчал, будто молчание ответит мне лучше, чем слова; но когда я уже решил, что ответа не будет, он произнес:

– Живы любовью.

Он обращался точно не ко мне, а ко всему окружающему; точно там, в тени у дверей, стояла и прислушивалась она; точно рассказ напомнил ему, подтвердил заново некий великий закон. Я не смог справиться с волнением и на сей раз ничего не спросил.

Через минуту он повернулся ко мне.

– Рад буду видеть вас на той неделе. Если выберете время.

– Когда вы приглашаете, ничто не может мне помешать.

– Хорошо. Приятно слышать. – Но удовольствие он выражал скорее из вежливости. К нему вернулось все его чванство. Он встал. – В кровать. Уже поздно.

Отвел меня в мою комнату, нагнулся, чтобы зажечь лампу.

– Я не желаю, чтобы в деревне обсуждали мою биографию.

– Это исключено.

Выпрямился, посмотрел на меня.

– Ну-с, в субботу мне ждать вас?

Я улыбнулся:

– Вы знаете, что да. Никогда не забуду эти два дня. Хоть и не понимаю, к чему призван.

И за какие заслуги.

– Может, как раз за неведение.

– Главное, что понимаете вы. В любом случае это призвание делает мне честь.

Он заглянул мне в глаза, потом неожиданно вытянул руку, как тогда в лодке, и отечески хлопнул меня по плечу. Похоже, я выдержал еще одно испытание.

– Хорошо. Мария приготовит вам завтрак. До субботы.

И ушел. Я сходил в ванную, закрыл дверь, потушил лампу. Но раздеваться не стал. Ждал, стоя у окна.

25

Минут двадцать все было спокойно. Кончис тоже сходил в ванную, вернулся к себе. Воцарилась тишина. Такая долгая, что я, потеряв терпение, разделся, начал погружаться в сон. И почти уснул, как вдруг услышал шаги. Кончис вышел из комнаты – тихо, но не крадучись – и спустился по лестнице. Прошла минута, другая; я свесил ноги на пол, соскочил с кровати.

Снова музыка, на сей раз снизу. Звук клавикордов, приглушенным звоном отдающийся от каменных стен. Я было приуныл. Похоже, Кончису просто не спится или взгрустнулось, вот и решил поиграть сам себе. Но тут я расслышал иной звук и бросился к двери. Осторожно приоткрыл ее. Дверь в концертную, должно быть, тоже распахнута; можно разобрать, как клацают рычажки клавикордов. Но холодом обдал меня нежный, призрачный посвист рекордера. Не патефонный, живой. Мелодия запнулась и полилась бойчее, на шесть восьмых. Рекордер заиграл соло, взял не ту ноту, потом еще раз; хотя музыкант был явно опытный и выделял мастерские трели и украшения.

Голый, я вышел на площадку и перегнулся через перила. У порога концертной лежал слабый отсвет лампы. Скорее всего, мне полагалось внимать, оставаясь наверху, но то было выше моих сил. Натянув брюки и свитер, я босиком, на цыпочках спустился по лестнице. Рекордер умолк, зашелестела перелистываемая страница. Пюпитр. Клавикорды начали длинный лютневый пассаж, третью часть сонаты, ласковую, как дождь, заполнившую дом таинственными, запредельными созвучиями. Медленным, печальным адажио вступил рекордер, сфальшивил, поправился. Я подкрался к распахнутой двери концертной, но что-то меня удержало – подобный трепет охватывает ребенка, который не спит, когда велено. Дверь открывалась внутрь, загораживая клавикорды, а щель заслоняла книжная полка.

Соната закончилась. Отодвинули стул, сердце мое заколотилось. Кончис тихо произнес какое-то короткое слово. Я прижался к стене. Шорох. Кто-то стоял на пороге концертной.

Стройная, с меня ростом девушка лет двадцати двух. В одной руке рекордер, в другой – малиновая щеточка для его прочистки. Полосатое бело-синее платье с широким воротом и без рукавов. Браслет на запястье, расширяющийся книзу подол почти до щиколоток. Черты лица невероятно красивые, но не тронутые ни загаром, ни косметикой; прическа, одежда, прямая осанка – все в ней дышало сорокалетней давностью.

Я понял, что она изображает Лилию. Это, несомненно, была та же девушка, что и на фотографиях; особенно на снимке, стоявшем в кунсткамере. Лицо с полотна Боттичелли, фиалково-серые глаза. Глаза всего чудеснее; огромные, слегка асимметричные, прохладные, миндалевидные очи лани, таинственно оживляющие ее идеально прекрасный облик.

Она сразу меня заметила. Я стоял как вкопанный. Сначала казалось, что она поражена не меньше меня. Но тут она тайком скосила большие глаза в ту сторону, где, должно быть, сидел за клавикордами Кончис, опять взглянула прямо мне в лицо. Поднесла к губам щеточку, поманила ею (не двигайся! молчи!) и улыбнулась. Точно жанровая сценка, изображенная старинным художником, – «Секрет», «Предостережение». Странная улыбка – будто «секрет» заключался в том, что не для старика, а именно для нас с ней важнее всего не нарушить иллюзию. Спокойная и лукавая, она и запутывала, и разоблачала, и обманывала, и рассеивала обман. Еще раз украдкой посмотрев на Кончиса, девушка подалась вперед и толкнула меня щеточкой в плечо, словно говоря: уходи.

Все это заняло не более пяти секунд. Дверь закрылась, оставив меня в темноте и обдав сандаловым ветерком. Наверное, будь она настоящим призраком, прозрачным и безголовым, я бы не так изумился. Она ясно дала понять, что это, конечно, игра, но Кончис не должен о том догадаться; что маскарад затеян ради него, а не ради меня.

Метнувшись к входной двери, я отодвинул засовы. И выбрался под колоннаду. В одном из узких, закругленных сверху окон сразу увидел Кончиса. Тот опять заиграл. Я искал глазами девушку. Перебежать гравийную площадку за столь короткий срок невозможно. Но ее и след простыл. Я шел вдоль окон, просматривая все закоулки концертной. Ее там не было. Решив, что она вышла через фасад под колоннаду, я осторожно заглянул за угол. Никого. Музыка все звучала. Я помедлил в растерянности. Она могла пробежать на зады виллы по тому крылу колоннады. Приседая у окон и быстро скользя мимо открытых дверей, я добрался до огорода, обогнул его по периметру. Я был уверен, что она скрылась именно в этом направлении. Но не слышал ни звука, не замечал никаких признаков жизни. Через несколько минут Кончис перестал играть. Вскоре лампа погасла, и он ушел к себе. Вернувшись под колоннаду, я уселся на стул. Мертвая тишина. Лишь писк сверчков, будто вода капает в глубокий колодец. Я терялся в догадках. Странные люди и звуки, гнилостное зловоние были настоящими, не сверхъестественными; ирреально разве что отсутствие технических приспособлений (потайных комнат, где можно укрыться) и хоть какой-то логики. Новая версия – «аттракционы» устраиваются не для одного меня, для Кончиса тоже – окончательно меня запутала.

Сидя в темноте, я ждал, что некто, хорошо бы «Лилия», вот-вот явится и все растолкует. Я вновь чувствовал себя ребенком, очутившимся среди взрослых, которые знают о нем что-то, чего не знает он сам. Да еще грустный тон Кончиса ввел меня в заблуждение. *Мертвые живы любовью*; лицедейством, очевидно, тоже.

Больше всего я надеялся, что вернется та, что исполняла роль Лилии. Мне хотелось познакомиться с обладательницей этого юного, смышленного, насмешливого, обаятельного северноевропейского лица. Выяснить, откуда она, что делает на Фраксоне, сорвать покровы тайн и докопаться до истины.

Без всякого результата я прождал около часа. Никто не появился, не раздалось ни шороха. Наконец я взобрался на второй этаж. Но спал плохо. Проснулся в половине шестого от стука Марии, квелый, как с похмелья.

Но дорога в школу меня взбудрила. Прохлада, нежно-розовое, наливающееся желтизной, а затем синевой небо, серое и бесплотное, еще дремлющее море, гряды молчаливых сосен. Продвигаясь вперед, я в некотором смысле возвращался в действительность. События выходных дней блекли, окукливались, точно увиденные во сне; с каждым шагом мной все вернее овладевало незнакомое, порожденное ранним утром, полным безлюдьем и памятью о случившемся недавно чувство, что я оказался в пространстве мифа; телесным опытом данное знание, каково одновременно быть и юным, и древним, то Одиссеем, подплывающим к Цирцеиным владениям, то Тесеем на подступах к Криту, то Эдипом, взыскующим самости. Это чувство невозможно выразить. В нем не было ничего рассудочного, лишь мистическая дрожь от пребывания здесь и сейчас, в мире, где может произойти все, что угодно. Словно он, мир, был за эти три дня заново пересотворен, спешно, ради моей скромной персоны.

26

Меня дожидалось письмо. Оно прибыло с воскресным пароходом.

Дорогой Николас!

Ты еще жив? Я опять одна. Ну, почти что. Гадала тут, хочу ли тебя увидеть. Пожалуй, хочу. Я как раз на афинском рейсе. Знаешь, никак не соображу: может, ты такая свинья, что снова с тобой связываться – идиотство. Но забыть тебя не могу даже с теми, кому ты в подметки не годишься. Нико, я тут выпила немного, так что письмо, видно, придется порвать.

Короче, если получится задержаться в Афинах на несколько дней, дам тебе телеграмму. Прочтешь всю эту ерунду и видеть меня не пожелаешь. Не понять тебе, как я тут живу. Получила твоё письмо и решила, что ты написал мне просто от скуки. Чтобы сесть за ответ, пришлось кирнуть для храбрости, вот ужас-то. Льет как из ведра, я газ зажгла, согреться. Туман до того серый и гнусный. Обои бэжесевые (или бежесевые? ну хрен с ним), все в зеленых сливах. Представляю, как тебя воротит это читать.

А.

Пиши на адрес Энн.

Письмо пришло весьма некстати. Отложив его, я понял, что Бурани принадлежит мне одному и я не собираюсь им делиться. Впервые узнав о нем и даже познакомившись с Кончисом – вплоть до явления Фулкса, – я не прочь был обсудить эту тему, и в первую очередь с Алисон. Теперь я благодарил судьбу, что не сделал этого, как благодарил ее, хоть и с оттенком раскаяния, что в письмах к Алисон не больно-то распространялся о своих чувствах.

За пять секунд в человека не влюбишься, но предчувствие любви может заронить в душу и пятисекундная встреча, тем более на фоне беспросветно мужского населения школы лорда Байрона. Чем больше я думал о полночной девушке, тем умнее и красивее казалось ее лицо; я находил в нем аристократизм, изящество, тонкость, что притягивали меня так же неуклонно, как безлунными ночами приманивают рыбу фонарики местных рыбаков. Я твердил себе: обладающий полотнами Модильяни и Боннара Кончис достаточно богат, чтобы содержать молоденькую любовницу. Полностью исключать плотскую связь между ними было бы наивно; однако в том, как она оглядывалась на него, чувствовалось скорее нечто дочернее, мягко-заботливое, нежели страстное.

В понедельник я перечитал письмо Алисон раз десять, не зная, как с ним поступить. Отвечать, понятно, придется, но я пришел к выводу, что чем позже отвечу, тем лучше. Лежавший на виду конверт не давал мне покоя, и, запихнув его в нижний ящик стола, я залез в постель, перенесся мечтой в Бурани, где предался возвышенно-чувственным играм с загадочной девушкой; несмотря на усталость, сон не шел ко мне. Когда я заразился сифилисом, это «преступление» заставило меня отбросить всякую мысль о сексе на много недель; теперь же, после отмены приговора – а полистав учебник, который Кончис дал мне на прочтение, я быстро убедился, что его диагноз верен, – природа вновь требовала свое. Ко мне вернулись эротические фантазии по поводу Алисон; я думал о пошлых воскресных забавах в какой-нибудь афинской гостинице; о том, что синица в руках лучше журавля в небе; и, опомнясь, – о ее одиночестве, бесплодном, суматошном одиночестве. В ее капризном и бесперемонном письме мне понравилась только одна фраза, последняя: «Пиши на адрес Энн», и точка. Она смягчала хамство и застарелую обиду, которые водили рукой Алисон.

Я сел за стол прямо в пижамных штанах и написал ответ, довольно длинный. Но, перечитав, разорвал. Второй вариант вышел короче и, на мой взгляд, удачно сочетал деловитое покаяние с приличествующей пылкостью и упованиями на то, что при удобном случае она не преминет забраться в мою постель.

Я сообщил ей, что в выходные дела не позволяют мне отлучаться из школы; и хотя через две недели начнутся короткие каникулы, неизвестно, вырвусь ли я в Афины. Но если вырвусь, буду счастлив с ней повидаться.

При первой возможности я поговорил с Мели с глазу на глаз. Я решил, что кому-нибудь из учителей придется отчасти довериться. Если вы не дежурили в выходные дни, обедать в ученической столовой не требовалось, и единственный, кто мог заметить мое отсутствие, был сам Мели, но он как раз ездил в Афины. В понедельник после обеда мы уселись в его комнате; точнее, он уселся за стол и, в согласии с прозвищем, принялся макать ложку в кувшин с гиметским медом и рассказывать, каких благ и блаженств причастился в столице; а я слушал его вполуха, лежа на кровати.

– А вы, Николас, как провели выходные?

– Познакомился с господином Конхисом.

– Вы... нет, вы шутите.

– Никому об этом ни слова.

Он протестующе замахал руками:

– Конечно, но каким образом... не могу поверить.

Я в усеченном виде описал свой первый, недельной давности визит, стараясь выставить и Кончиса, и Бурани с как можно более будничной стороны.

– Не зря говорят, что он туп как пробка. И никаких женщин?

– Ни единой. Даже мальчиков нет.

– Что, и коз?

Я кинул в него спичечным коробком. Частью по воле рока, частью от рокового безволия он признавал лишь два рода развлечений: совокупление и жратву. Лягушечьи губы расплылись в улыбке, и он снова налег на мед.

– Он пригласил меня на следующие выходные. Одним словом, Мели, не могли бы вы, если я заменю вас на двух уроках... ну, подежурить за меня в воскресенье с двенадцати до шести? – Воскресное дежурство самое легкое. Сиди себе в школе да раз-другой обойди этажи.

– Ладно. Да. Посмотрим. – Облизал ложку.

– И посоветуйте, что отвечать, если спросят. Пусть думают, что я где-то в другом месте.

Помахивая ложкой, он задумался, а затем сказал:

– Отвечайте, что едете на Гидру.

Гидра – промежуточная остановка на афинском маршруте, хотя добраться туда можно не только на пароходе, но и наняв каик у кого-то из местных. В поселке обитало несколько доморощенных художников; моя поездка к ним не вызовет кривотолков.

– Отлично. А вы никому не скажете?

Он перекрестился.

– Буду нем, как... забыл слово.

– Могила, Мели. Кстати, лучшее место для вас.

На неделе я не раз заглядывал в деревню: нет ли там новых лиц? Хотя приезжие – три-четыре женщины с маленькими детьми, отосланные мужьями из Афин на лоно природы, пара-другая пожилых супругов, высохших рантье, гуляющих по унылым холмам гостиницы «Филладельфия», – мне попадались, тех троих, что меня интересовали, я так и не встретил.

В один из вечеров, не находя себе места, я спустился в гавань. Было около одиннадцати, и никто не мешал любоваться катальпами и черной пушкой ста тридцати двух лет от роду. Выпив в кофейне кофе по-турецки и рюмочку бренди, я отправился восвояси. За гостиницей, где кончался длинный, в несколько сотен ярдов, бетонный «променад», я увидел долгоязого старика, который стоял посреди дороги и явно искал что-то под ногами. Заслышав мои шаги, он разогнулся – и вправду невероятно высокий и слишком хорошо одетый для Фраксосу; очевидно, летний турист. На нем был светло-коричневый костюм с белой гарденией в петлице, старомодная панама, белая с черной тесьмой. Козлиная борода. Он держал наперевес трость с янтарной рукоятью и выглядел не просто унылым, но еще и раздосадованным.

Я осведомился по-гречески, не потерял ли он что-нибудь.

– *Ah, pardon... est-ce que vous parlez français, monsieur?*

Да, сказал я, я немного говорю по-французски.

Похоже было, что он потерял наконечник трости. Слышал, как тот упал и покатился. Зажигая спички, я обыскал все вокруг и вскоре обнаружил медный колпачок.

– *Ah, très bien. Mille mercis, monsieur.*

Вытащил бумажник, и я было решил, что он собирается дать мне на чай. Был он мрачен, как персонаж Эль Греко, точно несколько десятилетий терпел невыносимую тоску – и, вероятно, сам такую же на всех нагонял. Вместо того чтобы достать чаевые, он бережно засунул наконечник в одно из отделений и учтиво спросил, как меня зовут, а затем льстиво восхитился моим знанием французского. Мы обменялись несколькими фразами. Он прибыл на остров всего два дня назад. Объяснил, что не француз, а бельгиец. Фраксос он находил *pittoresque, mais moins belle que Dèlos*⁵³.

Выжав еще с десяток банальностей, мы поклонились друг другу и разошлись. Он выразил надежду, что за два дня, которые он здесь проведет, мы увидимся и наговоримся как следует. Но я сделал все, чтоб этого избежать.

Наступила долгожданная суббота. Я дал два урока сверх расписания, чтобы освободить воскресенье, и был сыт школой по горло. Закончив утренние занятия и перекусив, прихватил сумку и отправился в сторону деревни. Да, объяснил я старику привратнику – лучший способ обнародовать ложные сведения, – уезжаю на выходные на Гидру. Как только школа скрылась за поворотом, я дворами обогнул ее и устремился к Бурани. Но по пути сделал еще один крюк.

Всю неделю я неустанно размышлял о Кончисе – сколь неустанно, столь и бесплодно. В «забавах» его выделялись два элемента – назидательный и художественный. Но что скрывалось за этими изощренными фантазиями, мудрость или безумие? Скорее последнее. Больше похоже на манию, чем на расчет.

Я все чаще и чаще подумывал и о том, чтобы наведаться в поселок на Айя-Варваре, бухте к востоку от Бурани. Вдоль широкого галечного пляжа росли высокие атанаты, или агавы, повернувшие к морю причудливые двенадцатифутовые канделябры соцветий. Я лесом подобрался к бухте, улегся в тимьяне над обрывом и принялся разглядывать домики в поисках чего-либо необычного. Но увидел только женщину в черной одежде. При ближайшем рассмотрении не похоже было, что «помощники» Кончиса обитают именно тут. Место слишком открытое, просматривается насквозь. Выждав, я спустился в поселок. Из дома выплянул ребенок, заметил меня в зарослях маслин, позвал взрослых, и навстречу мне вышли все обитатели селеньица – четыре женщины и полдюжины детей, несомненно местные. В придачу к стакану резервуарной воды, которой я попросил, мне с традиционным деревенским радушием предложили блюдечко айвового варенья и стопку раки. Мужчины сейчас были на ловле. Услышав, что я иду в гости к кирьосу Конхису, на меня воззрились с искренним изумлением. Он сюда захо-

⁵³ Живописным, но попроще Делоса (фр.).

дит? Разом отшатнулись, словно я сказал непристойность. Мне пришлось заново выслушать историю казни – по крайней мере, самая старшая обрушила на меня поток слов, среди коих я разобрал «староста» и «немцы»; а дети поднимали пальцы, как бы прицеливаясь.

Ну а Мария? Она-то заходит, так ведь? Да нет, они ее ни разу не видели. Она не с Фрак-соза, заметил кто-то.

А музыка, ночное пение? Они переглянулись. Какое пение? Я не слишком удивился. Скорее всего, ложатся здесь с наступлением темноты.

– А ты, – спросила бабка, – ты его родственник? – Они явно считали Кончиза иностранцем.

Знакомый, ответил я. Тут у него нет знакомых, произнесла старуха и с несомненной враждебностью добавила: кто станет знаться с дурными людьми? Но к нему приходят гости, сказал я, – светловолосая девушка, высокий мужчина, девочка такого вот росточка. Они их видели? Нет, не видели. На мысу бывала только бабка, задолго до войны. Им надоело говорить о Бурани, и они принялись задавать дежурные, детские, но подкупающе обстоятельные вопросы о Лондоне, об Англии.

Наконец, приняв в подарок веточку базилика, я отделался от них и шел вдоль обрыва в глубь острова, пока не взобрался на хребет, ведущий к Бурани. По утопанной тропке за мной увязались три босоногих мальчугана. С вершины лесистого холма мы увидели за верхушками деревьев плоскую крышу виллы. Дети остановились, точно дальше идти воспрещалось. Когда я обернулся, они задумчиво стояли на том же месте. Я помахал им, но они не ответили.

Пройдя за ним в концертную, я сел и выслушал Английскую сюиту ре минор. За чаем я все ждал, когда он намекнет, что знает о том, что я видел девушку, – а он не мог не знать, ведь ночной концерт, очевидно, и был затеян, чтобы обнаружить ее присутствие. Я, со своей стороны, придерживался прежней тактики: не упоминать ни о чем, пока он сам не даст к этому повод. Беседа наша текла как по маслу.

На мой дилетантский взгляд, Кончис играл так, словно между ним и музыкой не стояли ни «трактовка», ни необходимость усладить чей-то слух или утолить собственное тщеславие. Так, вероятно, играл сам Бах – по-моему, медленнее, чем большинство нынешних пианистов и клавикордистов, но не сбиваясь с темпа и не искажая рисунок мелодии. Сидя в прохладной, зашторенной комнате, я наблюдал за его склоненной над черным блестящим инструментом лысиной. И внимал баховской мощной целеустремленности, бесконечным секвенциям. Он впервые играл при мне высокую классику, и я был потрясен, как при виде картин Боннара; хоть и по-иному, но не менее сильно. В нем вновь возобладало человеческое. Слушая, я понимал, что в этот миг ни в коем случае не хотел бы оказаться в другом месте, что переживаемое теперь оправдывает все, что я здесь вытерпел, ибо терпел я для того лишь, чтобы прийти и сегодня. Кончис, рассказывая, как прибыл в Бурани, упомянул о встрече с будущим, о точке поворота. Сейчас я чувствовал то же, что он тогда; новый виток самосознания, уверенность, что эти душа и тело с их достоинствами и пороками пребудут со мной всегда, и нет ни выхода, ни выбора. Слово «возможность», до сих пор означавшее честолюбивые притязания, раскрыло свой новый смысл. Вся моя путаная жизнь, весь эгоизм, ошибки и предательства могут-таки послужить опорой, могут-таки стать фундаментом, а не взрывчаткой – и именно потому, что иного выбора нет. Это нельзя было назвать духовным перерождением. Ведь принимая себя такими, каковы мы есть, мы лишаемся надежды стать теми, какими должны быть; и все же я, кажется, сделал серьезный шаг вперед – и вверх. Он уже закончил играть и смотрел на меня.

– Вы превращаете слова в пустой хлам.

– Не я, а Бах.

– И вы.

Он поморщился, но я заметил, что он польщен – хоть и попытался это скрыть, утачив меня на послеобеденную поливку огорода.

Через час я вновь оказался в своей спальне. Книги на столике были заменены. Тонкая французская книжечка – переплетенная брошюра без имени автора, изданная им за свой счет в 1932 году в Париже под названием «De la communication intermondiale». Я легко догадался, кто автор. Затем фолиант «В дебрях Скандинавии». Как и «Красоты природы», дебри оказались женского пола – нордические девушки, разнообразно стоящие, бегущие, обнимающиеся на фоне тайги и фьордов. Лесбийский оттенок не пришелся мне по вкусу; вероятно, потому, что та сторона многогранной натуры Кончиса, что питала явную склонность к «запретным» предметам и книгам, начинала меня раздражать. Я, естественно, не был – или, по крайней мере, уверял себя, что не был, – ханжой. По молодости лет я не догадывался, что чем больше себя уверяешь, тем меньше контролируешь; а давать волю собственным любовным порывам – вовсе не то же самое, что исповедовать сексуальную терпимость. Я был англичанином; следовательно, ханжой. Я дважды перелистал альбом; снимки резко диссонировали с музыкой Баха, еще звучавшей у меня в ушах.

И последняя книга – роскошное специальное издание «Le Masque Français au Dixhuitième Siècle»⁵⁴. Над обрезом торчала белая закладка. Припомнив антологию на берегу, я открыл страницу, где кто-то отчеркнул карандашом абзац, в переводе с французского гласивший:

За высокими стенами Сен-Мартена посетитель имел удовольствие наблюдать на зеленых лужайках и в рощах танцующих и поющих пастухов и пастушек в окружении белорунных стад. Они не всегда были облачены в современные наряды. Подчас носили костюмы в римском или греческом стиле; тем самым оживали оды Феокрита и буколики Вергилия. Рассказывали даже, что там разыгрываются и более сомнительные сцены – летними ночами очаровательные нимфы спасаются бегством от странных темных фигур, получеловеческих, полукозлиных...

Наконец что-то разъяснилось. Происходящее в Бурани выдержано в духе домашнего спектакля; а отчеркнутый абзац подсказывал, что я, дабы не показаться невежливым и не испортить себе удовольствие, не должен совать нос за кулисы. Я смутился, вспомнив свои распросы в Айя-Варваре. Умывшись, я, из уважения к светскому тону, которого Кончис придерживался по вечерам, надел белую рубашку и летний костюм. Выйдя из спальни, заметил, что дверь его комнаты отворена. Он пригласил меня внутрь.

– Сегодня выпьем узо наверху.

Он сидел за столом, просматривая только что законченное письмо. Любуясь холстами Боннара, я подождал, пока он надпишет адрес. Дверь в маленькую комнатку распахнута настежь, сквозь нее видны вешалка, гардероб. Всего-навсего туалетная. Со стола у раскрытых окон смотрит фотография Лилии.

Мы вышли на террасу. Там стояли два стола, один с бутылкой узо и бокалами, другой – накрытый к ужину. Я сразу заметил, что за этим столом – три стула; и Кончис понял, что я это заметил.

– Вечером у нас будет гостья.

– Какая-нибудь деревенская? – в шутку спросил я, и он, улыбаясь, покачал головой.

Вечер был чудесный, истинно греческий, когда небо и земля медленно сливаются в яркой точке заката. Серые, как шерсть персидской кошки, горы, огромный, не прошедший огранки, желтый алмаз небосклона. Я вспомнил, как в деревне, в такой же вечерний час, люди на верандах таверн разом повернулись к западу, точно сидели в кино, а всезнающее, красноречивое небо было им экраном.

– Я прочел в «Le Masque Français» абзац, который вы отметили.

– Всего лишь метафора. Но и она может пригодиться.

Протянул мне бокал. Мы чокнулись.

Кофе принесен и разлит, лампа перекочевала мне за спину и освещает лицо Кончиса. Мы оба ждем.

– Надеюсь, вы не лишите меня рассказа о ваших дальнейших приключениях?

Он вскинул голову, что в Греции означает «нет». Чуть ли не робко взглянул на дверь спальни; это напомнило мне мой первый визит. Я обернулся – никого.

Он заговорил:

– Догадываетесь, кто сейчас появится?

– В воскресенье ночью я не знал, можно ли к вам войти.

– Вам можно делать все, что заблагорассудится.

– Только не задавать вопросов?

– Только не задавать вопросов. – Слабая улыбка. – Вы прочли мою брошюрку?

⁵⁴ «Французский усадебный театр XVIII века» (фр.).

- Нет еще.
- Прочтите внимательно.
- Конечно. В самом скором времени.
- И тогда завтра вечером проведем эксперимент.
- Полетим на другую планету? – спросил я, не сдержав сарказма.
- Да. Вон туда. – Звездная россыпь. – И еще дальше.

Он перевел взгляд на черные хребты западных гор, точно дальние светила будут для нас всего лишь перевалом.

- Там, наверху, говорят по-английски или по-гречески? – рискнул пошутить я.

Секунд пятнадцать он молчал; не улыбался.

- На языке чувств.

- Не слишком точный язык.

– Наоборот. Самый точный. Для тех, кто его изучит. – Повернулся ко мне. – Точность, о которой вы толкуете, важна в научных исследованиях. И совсем не важна...

Но я так и не узнал, где она не важна.

Знакомая легкая походка, шаги по гравию, приближающиеся со стороны берега. Кончис быстро взглянул на меня.

- Ни о чем не спрашивайте. Это самое главное.

Я улыбнулся:

- Как вам будет угодно.

- Ведите себя с ней как с больной амнезией.

- К сожалению, я никогда не общался с больными амнезией.

– Она живет сегодняшним днем. И не помнит о прошлом – у нее нет прошлого. Если вы спросите о прошлом, она только расстроится. Она очень ранима. И больше не станет встречаться с вами.

Мне нравится ваш спектакль, хотелось мне сказать, я не испорчу его. Но вместо этого я произнес:

- Хоть и не понимаю зачем, начинаю догадываться как.

Покачал головой:

- Вы начинаете догадываться зачем. А не как.

Он вперился в меня, подчеркивая каждое слово; потом повернул голову к двери. Я тоже обернулся.

Теперь меня осенило, что лампу поставили за моей спиной, чтобы осветить ее появление; и появление удалось ошеломляющее.

Она была одета, должно быть, по светской моде 1915 года: темно-синяя шелковая вечерняя шаль поверх легкого, цвета слоновой кости с отливом, платья, сужавшегося книзу и доходившего до середины икр. Тесный подол заставлял семенить, что прибавляло ей грациозности; приближаясь, она покачивалась, робея и спеша одновременно. Волосы подобраны кверху в стиле ампир. Она не переставая улыбалась Кончису, но с холодным любопытством взглянула, как я поднимаюсь со стула. Кончис был уже на ногах. Она казалась до того ухоженной, подтянутой и уверенной в себе – даже чуть заметная пугливость рассчитана до мелочей, – словно только что выпорхнула из ателье Диора. Во всяком случае, так я и подумал: профессиональная манекенщица. А потом: старый прохиндей.

Поцеловав ей руку, старый прохиндей заговорил:

- Лилия, позволь представить тебе господина Николаса Эрфе. Мисс Монтгомери.

Она протянула руку, я ее пожал. Холодная, недвижная ладонь. Я коснулся призрака. Заглянул ей в глаза – в глубине их ничто не дрогнуло.

- Добрый вечер, – сказал я.

Она ответила легким кивком и повернулась, дабы Кончису было удобнее снять с нее шаль, которую он и повесил на спинку собственного стула.

Обнаженные плечи; массивный браслет из золота и черного дерева; длиннейшее ожерелье из камней, похожих на сапфиры, но скорее всего – стразовое или ультрамариновое. По моим расчетам, ей было двадцать два или двадцать три. Но в облике сквозило нечто более зрелое, покой, присущий людям лет на десять старше, – не холодность или безразличие, но кристальная отчужденность; о подобной прохладе вздыхаешь среди летней жары.

Она поудобнее устроилась на стуле, сжала руки, слабо улыбнулась мне.

– Тепло сегодня, не правда ли?

Произношение чисто английское. Я почему-то ожидал иностранного акцента, но этот выговор узнал безошибочно. Тот же, что у меня; плод частной школы и университета; так говорят те, кого какой-то социолог назвал «господствующие сто тысяч».

– Да, не холодно, – ответил я.

– Господин Эрфе – молодой учитель, о котором я рассказывал, – произнес Кончис. В его тоне появилось нечто новое: почти благоговение.

– Да. Мы встречались на той неделе. Вернее, столкнулись в прихожей. – Еще раз слабо, без малейшего озорства, улыбнулась мне и опустила глаза.

Я чувствовал в ней беззащитность, о какой предупреждал Кончис. Но то была лукавая беззащитность, ибо в лице, особенно в очертаниях губ, светился ум. Она искоса смотрела на меня так, будто знала нечто мне неизвестное – не о роли, что ей приходится играть, а о жизни в целом; словно тоже тренировалась, сидя перед скульптурой. Подобные скрытность и самоуверенность захватили меня врасплох – потому ли, что в воскресенье она предстала передо мной в иной ипостаси, не столь салонной?

Раскрыв миниатюрный синий веер, принялась им обмахиваться. Невероятно бледная. Похоже, совсем не бывает на воздухе. Повисла внезапная неловкая пауза, точно никто не находил что сказать. Она нарушила молчание – так хозяйка по обязанности развлекает стеснительного гостя:

– Должно быть, учить детей очень занимательно.

– Не для меня. Я просто умираю со скуки.

– Все достойные и честные обязанности скучны. Но кому-то же надо их выполнять.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.